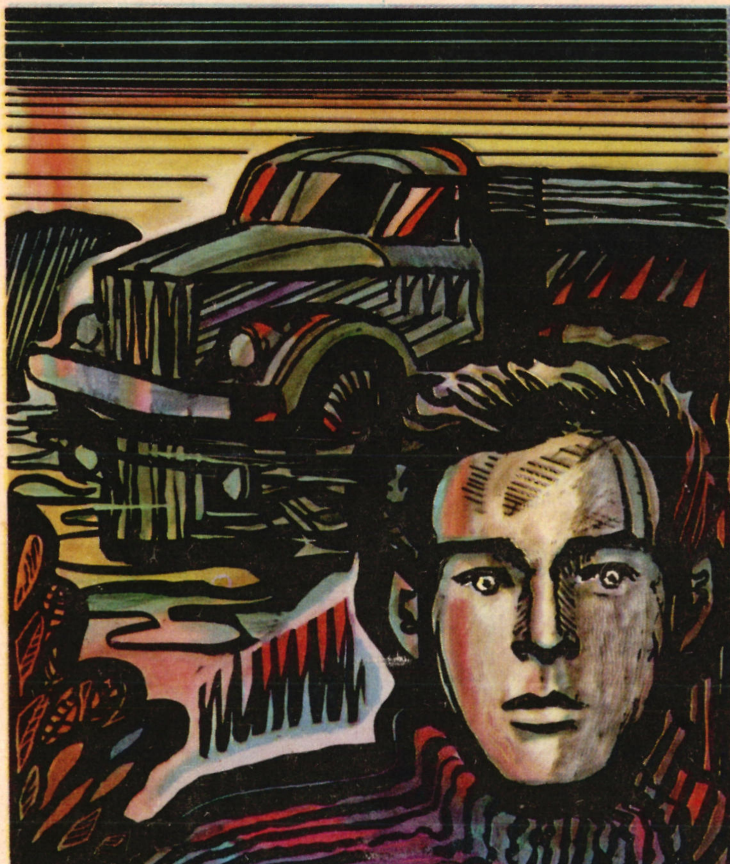


ПЕРВОЕ ИСПЫТАНИЕ

Джейм су
на добрую
память с пожела-
нием в совершенстве
изучить наш великий язык
и нашу великую литературу.

У. С.

24/II

Издательство «Молодая гвардия» выпускает серию «Компас» для тех, кто вступает в жизнь, кому от 14 до 17 лет, кто размышляет, каким быть и «делать жизнь с кого». Книги серии вы узнаете по графическому знаку на последней странице обложки.

Мы надеемся, что вы будете нам присылать свои отзывы и пожелания. А мы их учтем в дальнейших выпусках.

Наш адрес: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21, издательство «Молодая гвардия», серия «Компас».

В числе нравственных принципов, которые составляют моральный кодекс строителя коммунизма, есть такие:

— преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам социализма;

— высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов;

— коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного;

— гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку — друг, товарищ и брат;

— честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни...

ПЕРВОЕ ИСПЫТАНИЕ

Москва
«Молодая гвардия»
1974

Р2
П26

СОСТАВИТЕЛЬ В. ЯСЕНЕВ
ХУДОЖНИК А. ГОЛИЦЫН

П $\frac{70803-006}{078(02)-74}$ 162—73

© Издательство «Молодая гвардия», 1974 г.

ПОСТУПОК. ИСПЫТАНИЕ. ПОДВИГ

Представьте себе жаркое лето. Ослепительное солнце заливает луг и опушку леса. Но стоит развести руками упругие ветки кустарника, шагнуть под полог густого леса, как вас поглотит темнота, пахнет сыростью и прелым листом. Таинственно и отчего-то страшно в темном лесу. Контраст света и тени поражает сознание, грозит неожиданностями, кажется — там, в лесу, что-то интересное, невиданное. Вы стоите минуту в нерешительности перед стеной загадок и страха. Но вот страх преодолен, и паренек делает первый решительный шаг в манящую неизвестность. И тут же приходит спокойствие, уверенность и даже награда за смелость. Вот гриб, да какой красивый и крепкий! Вот вспорхнула небольшая птица, и под кустом блеснули шоколадным боком соловьиные яйца в аккуратном гнезде-чашечке, обложенном по бокам дубовыми листьями. Смелость вознаграждена вполне. Но главное в том, что вы преодолели страх, у вас родилась решимость, было выдержано первое испытание в борьбе со слабостью, похожее на прыжок в неизвестность, — первая ступенька на пути владения собой, первый волевой шаг.

Каждый наш день — это путь труда и отдыха, путь преодоления в самом себе человеческих слабостей, путь побед в незаметной ежечасной борьбе с собой, слабым, ради себя, сильного.

...Парнишка отложил книгу, задумался — он видит перед собой картину: яркое зарево освещает черные стволы деревьев, плотную стену страшного леса, толпу людей на огромной поляне и впереди высокого юношу с поднятой рукой. Яркий свет исходит от руки. Юноша смело вступает в черноту леса, и люди идут за ним вслед, озаренные необычайным светом.

Встречая людей, чьи поступки трогают душу чистотой и естественной легкостью самопожертвования, нам вспоминается Данко в сиянии его горящего сердца, вырванного из груди, ради людей.

Там, в лесу, у вас было маленькое испытание. Здесь, в сказке о Данко, — подвиг. А в середине — огромный путь преодоления инертности, пассивности, воспитание в себе честности и прямоты, смелости и самоотверженности.

В этой книге собраны разные рассказы советских писателей. Вы прочитаете рассказы о первом смелом поступке и о первом открытии, о первом бое, данном злу, и о первом добром деле. Растет человек, закаляется характер. Ему по плечу и более серьез-

ные победы. И наконец — подвиг, высшая победа, умение всего себя отдать людям.

В рассказе Ю. Нагибина «Эхо» Сережа не смог, не захотел защитить девочку от насмешек ребят, струсил и разгласил ее секреты. Он потерял друга — и горы перестали отвечать ему эхом: «Все очень просто — горы отзываются только чистым и честным».

Прочитайте о Кеше, который, не делая ничего сверхъестественного, одерживает победу над фальшью и подлостью одного из одноклассников, обретает всеобщее уважение. Вот оно, испытание в малом, ставшее большим жизненным испытанием (Г. Семенов, отрывок из повести «К зиме, минуя осень»).

Замечательный русский зоолог и путешественник середины прошлого столетия Н. А. Северцев во время одного из своих среднеазиатских путешествий попал в плен к кокандцам. Он был ранен и привязан к верблюду вниз головой. Тем не менее Николай Алексеевич, верный своей натуре естествоиспытателя и ученого, продолжал наблюдать птиц и примечал местность, по которой его везли. А позже он подробно описал те места и даже оставил описание одного вида сов, до него здесь не отмеченных.

В маленькой повести В. Липатова «Зуб мудрости» парень получает новую блестящую машину, он горд оказанным ему доверием. И вдруг разбушевавшаяся стихия, река засасывает машину. Шофер всю ночь носит на берег мешки с сахаром. Он спасает машину. К утру обнаруживается, что у него вырос зуб мудрости. Это как бы символ того, что испытание на прочность характера парень сдал отлично.

Нередко человек не знает возможностей, скрытых в нем, не предполагает, на что он способен. Герой рассказа Николая Чуковского «Мост» застенчив и неуклюж. Он сторонился незнакомых, его пугало будущее: ему предстояло одному ехать в Сибирь. Но вот — беда. И он, не колеблясь, прыгает с моста в быструю реку и спасает девочку.

Только потом не разумом, а чувством он постепенно постигает себя.

«...По мере того как он говорил, предстоящая судьба озарялась как бы новым светом. Он совершил открытие, узнал о себе то, чего до сих пор не знал. Оказывается, он многое может. Он может прыгнуть с моста, спасти человека. И будущее, которое до сих пор представлялось ему таким страшным, вдруг предстало перед ним величавым и достижимым.

Он даже встал от волнения».

Кто-то совершает дурной поступок. Умеем ли мы противостоять таким людям? Этот вопрос тоже встает перед теми, кто

вступает в жизнь. О добротности человеческих чувств, о нравственной победе товарищества над эгоистом, ханжой и лицемером — рассказ В. Солоухина «Каравай заварного хлеба».

Высшая ступень испытания — подвиг. Это не только героический поступок, который видят все и который поражает чувства и мысль, но это и готовность к подвигу, способность пойти на него легко и естественно, без колебаний, так же естественно как дышать и жить. И вот эта-то скрытая до поры, невидимая готовность к подвигу не приходит вдруг и разом, а наращивается каждым днем жизни от раннего детства до зрелых лет.

Готовность к подвигу — это уже подвиг, только совершаемый по частям, каждый день, всю жизнь и потому нередко незаметный. Но свет его, если сказать образно, накапливается в сердце, и будь лишь случай — он станет светить людям.

«Комсомольская правда» рассказала о подвиге восемнадцатилетнего рязанского тракториста Анатолия Мерзлова, который бросился спасать горящий трактор и погиб от ожогов в больнице, проявив удивительную стойкость. Константин Симонов писал: «Человек, умиравший в больнице, бросился в огонь не очертя голову, он не был самоубийцей и ценил себя и свою жизнь не меньше, чем другие люди. Но в его понимание цены человека, в том числе и собственной цены, очевидно, входило понимание цены выполненного или невыполненного долга. «Верен Родине и себе...» Именно эти слова выражают нравственную суть того, что сделал Анатолий Мерзлов».

Свет подвига — это особый вид великой энергии, передаваемой от сердца к сердцу, и значение ее в жизни огромно.

Герой автобиографической повести В. Титова «Всем смертям назло» ценой своего здоровья предотвращает аварию на шахте. Он лишается рук. Ему предстоит найти место в новой жизни. Одолеть себя, отковать свою волю, подчинить желание разуму, научиться видеть красоту жизни. В конце повести он пишет: «Жизнь бессмертна. Только когда человек за свою жизнь не сделает ничего хорошего, не совершит доброго дела, он умирает. Самой настоящей, самой страшной смертью».

Все рассказы, собранные в этой книге, показывают, как важно в работе и в учебе, в товариществе и любви, в познании самого себя и друзей всегда честно и смело оценивать и судить себя и свои поступки. Как важно пройти школу самовоспитания. Только воспитывая в себе новую, коммунистическую мораль, следуя лучшим заветам передовой гуманистической мысли, можно стать настоящим человеком.



МОСТ

К ак он поедет, не пойму, — сказала бабушка, перевернув ножом оладью на сковородке. — Ведь он всего боится.

— Доедет, — отозвалась из глубины кухни тетя Надя. — Что поделаешь — надо. Там ему всяко лучше будет.

Бабушка промолчала, но шумно вздохнула. Она вовсе не была уверена, что там Косте будет лучше.

Костя стоял в кустах смородины перед открытым окном и все слышал. Он быстро отрывал ягоды одну за дру-

гой и совал в рот. С тех пор как отъезд его был решен окончательно, он часами торчал в этих кустах.

— Всего, всего боится, — повторила бабушка. — Боится марку на почте купить. Как он поедет?

Косте давно уже было кисло от ягод; тоска давила его. Он вышел из кустов, поднялся на крыльцо и в темных сенях нащупал свой велосипед. С велосипедом на плече он отворил дверь в кухню:

— Пойду покатаюсь, — сказал он угрюмо.

Бабушка тяжело переступила с ноги на ногу и снова вздохнула. Бабушкина сестра тетя Надя, не отрываясь от картошки, выговорила:

— Покатайся в последний раз. Там тебе кататься не придется.

Костя вывел велосипед за калитку и перекинул через него длинную ногу. Велосипед, купленный давно, еще до маминой смерти, был теперь мал Косте. Вытянулся Костя за последний год чуть не вдвое, но шире не стал нисколько — плечи узкие, шея тонкая, с большим кадыком, уши слегка оттопырены и просвечивают насквозь. Когда он сидел на своем полудетском велосипеде, острые его колени почти достигали подбородка. Но к велосипеду своему он привык и не ощущал никакого неудобства. Машинально проехал он по переулку, мимо заборов, через которые перевешивалась пыльная бузина, машинально выехал на шоссе и свернул влево, чтобы скорее выскочить из поселка в поля. Ему никого не хотелось встречать, ему не хотелось отрываться от своих мыслей. А думал он все о том же.

Нынешней весной он кончил десятилетку, и кончил плохо — тройки ему натянули еле-еле. Поступить в институт с такими отметками нечего было и думать. Прежде он учился не хуже других, но, когда умерла мама, полтора года назад, он два месяца не ходил в школу и все запустил. На уроках его спрашивали, и весь класс видел,

что он ничего не знает. От этого им овладела робость, неуверенность в себе. Когда его вызывали к доске, он путался уже от одной робости.

Он был неуклюж, застенчив, при посторонних либо молчал, либо говорил невпопад и сам от этого мучился. Всех сторонился, перестал играть в футбол, купаться на реку ходил один. Однажды ему недодали сдачи в булочной, он это видел, но не решился сказать, хотя знал, что продавщица просто ошиблась, и бабушке объяснил, что потерял деньги. Только бабушки он не боялся, только при ней он чувствовал себя легко и свободно, но с бабушкой нужно было расстаться.

Бабушка уже три года не работала на фабрике и жила на пенсию, и он жил на бабушкину пенсию. Весь рабочий поселок, в котором Костя родился и прожил безвыездно все семнадцать лет своей жизни, работал на фабрике. Фабрика была женская, мужчине там настоящего ходу не было; мальчики, кончая школу, уезжали из поселка. Косте тоже нужно непременно было уехать, чтобы не объедать бабушку и начать собственную жизнь. И ему было куда уехать — его звал к себе в Сибирь дядя Василий Петрович, бабушкин брат, и обещал присмотреть за ним и устроить его, и все считали, что это очень хорошо, правильно, что перед Костей открыта широкая дорога, и один только Костя в глубине души считал, что все нехорошо, но никому не смел сказать этого.

Никому не осмеливался он сказать, как ему тоскливо и страшно при мысли о разлуке с бабушкой, с которой он никогда еще не разлучался ни на один день за всю свою жизнь; каким холодным, суровым и властным стариком представлялся ему дядя Василий Петрович. Там, на знаменитой сибирской реке, впадающей в Ледовитый океан, он водил буксирные пароходы; теперь он даже не водил пароходы, а был начальником над множеством судов. Костя видел эту реку на большой школьной карте, висевшей в

классе, — она со своими извивающимися притоками была похожа на подземную часть какого-то неведомого растения со странными, жуткими корнями... Дядя Вася писал, приглашая Костю приехать: «Я отдам его в речной техникум вместе с моим Колей, там их вымуштруют, и через три года из них получатся настоящие водники». Бабушка, читая это письмо вслух, при зловещем слове «вымуштруют» испуганно посмотрела на Костю... И вот сегодня ночью они пойдут на станцию, и там в пятом часу утра остановится московский поезд, и Костя один поедет в Москву, где он никогда не был, и в громадной, неведомой этой Москве побредет на какой-то другой вокзал, и сядет в другой поезд, идущий в Сибирь, — и все один, один, уже ничем не связанный с бабушкой, кроме оладий в корзинке...

День был теплый, но бессолнечный, хмурый, с утра собирался дождь, да так и не собрался. Костя выехал из поселка, и шоссе побежало по волнистым полям. Справа от шоссе, от Кости, тянулась река; до нее было километра три.

Маленькая птичка садилась впереди на телеграфный провод и, помахивая длинным хвостиком, ждала, чтобы Костя поравнялся с ней; она взлетала, опять садилась далеко впереди на провод и опять ждала. Но Костя не замечал ни птички, ни лип, он равномерно крутил педали и, ни во что не вглядываясь, смотрел вперед, туда, куда убегала серая лента шоссе, то мягко подымавшаяся, то полого спускавшаяся.

Перевалив через одну из гривок, он вдруг заметил далеко-далеко впереди на шоссе крошечное пестрое пятнышко.

Ему пришло в голову, что он видел его уже и раньше, но не обращал внимания. Что-то синее и желтое. Он не успел приглядеться, как оно перекатилось через гривку и исчезло.

Костя быстро завертел педали. Он стремительно слетел вниз, проскочил через мостик над овражком и, стараясь не потерять накопленной инерции, помчался вверх. Перевалив через гривку, он опять увидел желто-синее пятнышко на следующем подъеме. Но теперь расстояние между ними значительно сократилось, и ему стало ясно, что это кто-то едет на велосипеде, так же как и он.

Перелетев через следующую гривку, он сразу увидел, что на том велосипеде — девочка. Юбка синяя, а кофта желтая. Она ехала по шоссе не спеша, светлые волосы лежали у нее на плечах. Он полетел вниз по склону, чтобы догнать ее и заглянуть ей в лицо. Но она издали услышала, что ее догоняют, и обернулась.

Лицо круглое, девчоночье. Рассмотреть его он не мог — между ними было еще метров двести, да и не успел — она сразу отвернулась. Толстенькие ее ноги в белых носках заработали вовсю. Она не хотела, чтобы он ее догнал.

Она рванулась вперед, и они понеслись. Оказалось, она владела велосипедом не хуже его. Костя прижался к рулю и крутил педали изо всех сил, но до нее было все так же далеко. На ближайшем подъеме расстояние между ними немного сократилось, но зато на спуске, когда велосипеды катились своим ходом, он несколько отстал — у нее велосипед был лучше. Охваченный азартом погони, он напряг все силы и низко склонился к рулю. На подъеме он опять приблизился к ней, и довольно значительно. Теперь нужно было не отстать на спуске, и, хотя спуск был длинный, он пролетел его до конца, не уступив ни метра. Ей лет четырнадцать-пятнадцать. Порой она чуть-чуть поворачивала голову и, несомненно, взглядывала на него, сильно скосив глаза; тогда он на мгновение видел ее пухлую щеку. Она делала отчаянные усилия, чтобы не дать себя догнать. И все же он постепенно догонял ее.

Расстояние между велосипедами упорно уменьшалось, и ощущение торжества наполняло Костю. Она теперь ча-

ще поглядывала на него, и он чаще видел ее щеку; всякий раз, когда она слегка поворачивала голову, чтобы взглянуть, велосипед ее делал небольшой зигзаг по асфальту, и Костя выигрывал два-три метра. Теперь он уже не сомневался, что догонит ее; он рассчитывал на ближайшем подъеме поравняться с ней.

От шоссе в лес, вправо, перед самым началом подъема, уходила недавно проложенная асфальтированная дорога. Костя знал ее и знал, что она ведет к реке, к строительству нового моста, который должен соединить эту сторону с совхозами той стороны. Не знал он только, что велосипед, за которым он гнался, внезапно свернет на эту дорогу.

Она свернула так нежданно, что он едва не проскочил мимо. По-видимому, она рассчитывала, что он перестанет ее преследовать и поедет дальше по шоссе. Но, охваченный все возрастающим азартом, он теперь думал только о том, как бы ее догнать. Повернув на дорогу, он помчался вслед за нею.

Дорога шла под уклон, все вниз, вниз, вниз. Велосипеды мчались своим ходом на предельной, доступной им скорости. Девочка была впереди метров на десять, и расстояние между ними больше не сокращалось, но это его уже не заботило, — он знал, что через строящийся мост проехать нельзя, а дорога вела только до моста. Значит, у реки ей все равно придется остановиться.

Дорога подходила к мосту под углом, и справа сквозь стволы уже блестела река — далеко внизу, под крутым яром. Замелькали бочки из-под цемента, грохоты, временные дощатые навесы, груды свай из сборного железобетона. И весь недостроенный мост открылся перед ними.

Уже перекинутый через всю ширину реки, но без настила наверху, весь в бесформенной чешуе деревянных лесов, мост казался сетью, сквозь грубые ячейки которой были видны куски противоположного берега. Металличе-



ская стройность его будущих очертаний еще только смутно угадывалась в нагромождениях подсобного деревянного хлама. Здесь должен был бы греметь несмолкаемый гул работы, но сегодня над мостом, над рекой стояла тишина. Сегодня было воскресенье.

Всего этого Костя не успел ни рассмотреть, ни подумать — велосипед нес его слишком быстро, и все перед ним возникало внезапно. Внезапно увидел он, что впереди асфальт кончается и начинается ведущая к мосту песчаная насыпь. Поверх этой рыхлой насыпи проложены были мостки из четырех досок, и он, пораженный, увидел, как она, даже не замедлив хода, въехала на эти доски.

Он не успел опомниться, как сам уже был на тех досках. Нужно было крепко держать руль, чтобы не угодить в песок, но не это волновало его. Он взволновался, увидев, что доски эти с насыпи перебегают на мост, образуя по краю моста узкую пешеходную дорожку, опирающуюся на редкие железные балки, ничем не огороженную и висящую высоко-высоко над водой. Эта дорожка в четыре доски шириной, очевидно, служила рабочим для перехода с берега на берег. И велосипед ее на полном ходу приближался к концу насыпи.

— Тормози! — успел крикнуть он, но задохнулся и сам не услышал своего голоса.

Однако она полуобернулась и взглянула на него краешком глаза. При этом движении велосипед ее сделал небольшой зигзаг и чуть не съехал на песок. Но она выпрямила колесо и помчалась прямо вперед, по доскам на мост, — понеслась между двух пропастей, высоко над водой.

Костя понял, что случилось что-то страшное, непоправимое. Он еще мог затормозить, но почему-то этого не сделал. Велосипед вынес его на мост, на те же доски, и он далеко под собой, справа и слева, увидел воду.

Уже нельзя было ни остановиться, ни повернуть, ни оглянуться. Можно было только мчаться вперед, не замед-

ляя скорость. Если не дрогнет рука. Он знал, что не выдержал бы, и ослабел бы от страха, и рука дрогнула бы, если бы он не видел впереди ее велосипеда.

Он не отрывал от нее глаз. Велосипед ее шел ровно, прямо. Но Костя чувствовал отчаянную напряженность этой прямизны. Выдержит ли она такую напряженность? Она очутилась на этих узких досках так же неожиданно для себя, как и он. Только бы она не оглянулась... Как много еще осталось до конца моста. Только бы не дрогнула, не оглянулась. Вот она уже проехала середину. Еще какая-нибудь минута осталась — и конец. Только бы не оглянулась.

Но тут она оглянулась.

Она чуть-чуть повернула голову — чтобы посмотреть, идет ли он за нею, — переднее колесо ее велосипеда слегка колебнулось. Целое мгновение, необычайно длинное, она боролась с колесом, стараясь его выпрямить. Но выпрямить ей не удалось, и велосипед ее соскользнул в воздух, в пустоту.

Костя не видел, как она падала, — она просто исчезла с моста вместе с велосипедом. И сразу же сделал то, что минуту назад казалось ему невозможным, — затормозил и соскочил на мостки. Ему удалось удержаться на досках. Он глянул вниз. Вода была далеко внизу — тускло блестящая, плотная, как металл, она с силой уходила под мост. Он увидел ее велосипед, который зацепился рамой за конец доски, торчавшей из шершавой обшивки моста, и повис над водой, и еще качался. Но ее он не увидел нигде.

И это так ужаснуло его, что, положив свой велосипед на доски, он прыгнул.

Он пробил поверхность воды головой, вода сомкнулась над ним, и его с силой потащило вниз. Ошеломленный падением, он все же открыл глаза, чтобы увидеть ее. Он увидел смутные очертания каких-то громадных глыб и

столбов, и ничего больше. Спуск окончился, теперь его тащило вверх, он перевернулся под водой и высунул голову на поверхность.

Его втянуло уже в пролет моста; совсем близко увидел он бетонный устой, еще не вполне освобожденный от досок опалубки и от каких-то бревенчатых свай, торчавших из воды рядом. Наверху сквозь многоэтажную сеть металлических перекладин и досок виднелись клочки неяркого неба. Вода волокла Костю с силой, противостоять течению не было никакой возможности. Его несло, поворачивая, кружа, и вначале он даже не пытался этому кружению сопротивляться. И внезапно, на повороте, увидел ее.

Он увидел краешек ее лица за бревенчатой сваей, торчащей из воды рядом с устьем, в самом конце пролета. Погруженная в воду до рта, она обеими руками держалась за сваю, а перед сваей течение взбивало пенистый бурунчик. Свая мешала ему видеть ее лицо целиком, он разглядел только ее щеку и глаз, но по этому глазу, огромному, понял, что она вот-вот выпустит сваю из рук. Тогда ее сразу же унесет в реку.

— Держись! — крикнул он ей, захлебываясь.

Теперь он боялся только одного — что течение пронесет его мимо нее. Поплыть к ней назад, против течения, ему не удалось бы. Он делал отчаянные усилия, стараясь хоть немного направлять свое движение. Намокшие брюки и парусиновые туфли очень мешали. Все же ему удалось, выбросив руку влево, ухватиться за ту же сваю. Течение сразу круто завернуло его, и он, так же как и она, повис на свае. Плечо его оказалось прижатым к ее плечу.

Ее мокрое, бледное, испуганное лицо было совсем близко. Светлые, широко раскрытые глаза не выражали ничего, кроме напряжения, — она держалась за сваю уже из последних сил. Однако он чувствовал, что теперь, когда он оказался рядом с нею, она надеется и верит, она полагается на него.

А между тем он не имел ни малейшего представления, как поступить дальше.

Он глянул вверх. Над ними подымался бетонный устой моста, казавшийся снизу громадным. Зацепиться не за что. Влезть на него невозможно.

Он глянул назад. Сзади была река.

— Ты можешь плыть? — спросил он ее.

Она покачала головой.

Однако держаться она тоже больше не может. Он опять оглянулся. В сущности, до левого берега не так уж далеко. Один он доплыл бы. Река заворачивает вправо, и вправо уходит течение, а слева в воду длинным мысом вступают камыши. Вот если бы их вынесло к камышам...

Он опять взглянул на нее. Нужно действовать скоро, пока у нее есть силы.

— Отпусти!

— Нет, нет!

— Меня надо слушаться! — сказал он веско.

Он отодрал ее руку от сваи и попробовал положить себе на плечо. Мгновенно другая ее рука тоже соскользнула со сваи; обеими руками она вцепилась в него. Под ее тяжестью он выпустил сваю, и они оба сразу погрузились. Их закрутило и понесло под водой. Чтобы освободиться, он с силой расцепил ее руки и отпихнул ее от себя.

Барахтаясь, она стала подыматься. Он вынырнул и, отфыркиваясь, увидел, как мост всей своей громадой быстро отъезжает назад. Она барахталась тут же, рядом с ним; ее круглое лицо на мгновение приподымалось над водой, она судорожно хватала воздух и погружалась снова.

Он обвил свою шею ее полной короткой рукой. Вторую ее руку, попытавшуюся вцепиться в него, он отшвырнул.

— Не сметь! — сказал он грозно. — Надо слушаться!

Она сразу послушалась и перестала за него цепляться. Теперь они держались на воде устойчивее. Нужно было,

чтобы их не пронесло мимо камышей, и он упорно боролся с течением, загребая одной рукой. Мягкая рука ее тяжело и доверчиво лежала у него на затылке, вдавливая его в воду; рот его почти все время был под водой, но он приспособился к этому и успевал поднять голову, чтобы вздохнуть. Лишь бы ее лицо оставалось над водой.

Она перестала биться и захлебываться, потому что успокоилась, а успокоилась потому, что полностью ему доверяла, больше чем он доверял себе сам.

— Я буду слушаться, — прошептала она ему в ухо.

А он между тем уже чувствовал, что изнемогает и что их все-таки, кажется, пронесет мимо камышей. Он держал влево, к берегу, но течение заворачивало вправо, огибая камыши, и было слишком быстрым. От усталости он даже раза два пытался нащупать ногами дно. И при третьей попытке нащупал.

Вода доходила ему до ушей, и все-таки он стоял. Отмель, на которой росли камыши, тянулась, понижаясь, и сюда. Видя, что он стоит, она тоже сделала попытку встать, но только погрузилась в воду и захлебнулась. Он подхватил ее, поднял и, осторожно шагая, понес к берегу.

Через пятнадцать минут они сидели на склоне в зарослях ольхи и сквозь листья смотрели на воду. Одежда их сохла, развешанная по сучьям; на Косте были только трусы, на ней — трусы и белый лифчик. Он был несколько смущен ее наготой, старался не сидеть к ней слишком близко и не слишком часто на нее взглядывать. Она, напротив, его не смущалась. Ее круглые светлые глаза смотрели на него доверчиво и восхищенно сквозь пряди мокрых волос, падавших на лицо.

Оба их велосипеда лежали тут же, в траве. Костя оба снял с моста сам. Он весь был еще охвачен жаждой деятельности, он чувствовал себя легким и бесстрашным. Впрочем, снять с моста его велосипед было нетрудно, хотя, когда Костя снова вступил на настил в четыре доски, он

удивился, как по такой узкой, неогороженной дорожке он мог ехать на велосипеде. Еще час назад он даже не решился бы пройти по ней; зато теперь он ходил по этим доскам без малейшего трепета, не глядя под ноги. Достать ее велосипед оказалось несравненно труднее. Ему пришлось сползти вниз по лесам, повиснуть на руках и ногами снять зацепившуюся рамой машину с конца доски. Он проделал все это без колебаний, с наслаждением, так как знал, что она стоит на берегу и наблюдает за ним; он опасался не того, что сам упадет в воду — это было бы только повторение прыжка, — а того, что уронит в воду велосипед. Но не уронил и прикатил оба велосипеда на берег, в ольху, где висела и сохла их одежда.

— Вы все можете! — сказала она.

— Я все могу, — подтвердил он убежденно. — Если бы я уронил твой велосипед в воду, я отдал бы тебе свой.

Ему хотелось быть безгранично щедрым, и он даже пожалел, что не придется отдать ей свой велосипед.

— Я не взяла бы ни за что...

— А мне он больше не нужен. Я сегодня уезжаю.

Лицо ее дрогнуло.

— Уезжаете?

— Сегодня ночью.

— Надолго?

— Совсем.

— А когда вернетесь?

— Наверно, никогда.

Слова его произвели на нее такое впечатление, что он сам взволновался.

— Никогда, — повторила она медленно. — И далеко?

— Очень. Ночным московским.

Она спросила, не в областной ли их город он едет. Она считала, что до областного их города очень далеко.

— Тю! — сказал он. — Послезавтра утром буду в Москве.

— В Москву? — спросила она с уважением.

— В Москву только на денек. Надо же посмотреть Москву.

— Еще дальше?

Он кивнул:

— В Сибирь.

Она замолчала, и он почувствовал, как значительно звучит это слово.

— С кем вы едете? — спросила она наконец.

— Один.

По мере того как он говорил, предстоящая судьба озарялась как бы новым светом. Он совершил открытие, узнал о себе то, чего до сих пор не знал. Оказывается, он многое может. Он может прыгнуть с моста, спасти человека. И будущее, которое до сих пор представлялось ему таким страшным, вдруг предстало перед ним величавым и достижимым.

Он даже встал от волнения.

— Буду водить корабли, — сказал он. — Дизель-электроходы.

— Куда?

— До Ледовитого океана. За Полярный круг и обратно. Тайга, тундра, зверей очень много, — вспомнил он все, что знал о Сибири.

Он ждал, что она спросит, неужели он и вправду умеет водить дизель-электроходы. Но она не спросила. Она-то не сомневалась, что он умеет все. Он сам сомневался.

— Выучусь, — сказал он, думая о дяде Васе. — Что может сделать один человек, то может сделать и другой.

Узкоплечий, длинноногий, прямой, он умолк, он на время забыл о ней; он стоял и смотрел, как блестит вода за листьями, охваченный всем, что так внезапно открылось ему. Она робко глядела на него, обняв голые круглые коленки руками.

— Вас будут провожать? — спросила она тихонько.

— Будут, — ответил он.

— Кто?

Он знал, что провожать его пойдут бабушка и тетя Надя. Но признаться в этом ему почему-то не хотелось. И он промолчал.

— И я приду, можно? — спросила она быстрым шепотом, отбросив с лица мокрые волосы. — Мы живем рядом со станцией, я вылезу в окно и добегу. Можно? — Она торопилась, боясь, что он не позволит. — Я не помешаю, меня никто не увидит, я только постою в сторонке и посмотрю... Можно? Можно?

Он не отвечал, он глядел на нее с радостным удивлением, полный нежности, которая тоже была открытием.

ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВ



КЕША ВОЗВРАЩАЕТ ИМЯ

(Отрывок из повести «К зиме, минуя осень»)

Была там густая, цветистая трава, все перепуталось там — белые, красные, лиловые и розовые клевера и ромашки, повилика и лиловые колокольчики, и голубые, как небо, дикие астры, и множество всяких желтых и оранжевых цветиков — все это как будто кружилось перед глазами, и они шли по этим цветам, а цветы мешали идти, потому что приходилось преодолевать их цепкое и упругое сопротивление. Палило солнце, горели щеки, обожженные душистым жаром спе-

лых трав, и всюду жужжали, прыгали и ползали мухи, шмели, пчелы, мириады кузнечиков — вся округа была заполнена этим знойным гудением и звоном.

Они продирались сквозь цветущие травы к березам, которые чередой стояли среди поля.

Ему было одиннадцать лет, а ей на полгода меньше. И оба впервые в жизни были влюблены. Она любила его, а ему казалось, что самая красивая, самая нежная, самая верная и самая грустная на свете — это она... Ему нравились задумчивые и грустные девочки. А эта была самая задумчивая. И ему впервые приходилось вот так, как теперь, заблудившись, идти рядом с ней и знать, что они заблудились, знать, что им еще долго идти и, может, вообще не найти никогда дороги.

Он ни разу еще не дотрагивался до нее, даже не брал ее за руку — здоровались молча, одними только глазами; лишь однажды, когда их старшие группы купались, а она собирала в мокром песке маленькие ракушки, он тоже набрал их целую горсть, подошел к ней и спросил:

— Тебе нужны ракушки?

— Нужны, — сказала она и подставила ладони.

Он с робостью коснулся ее холодных мокрых рук, высыпая крошечные ракушки, и спросил:

— А зачем тебе?

— Просто так.

Неделю назад их постригли наголо, как в больнице, — и мальчиков и девочек, — и она в тот день ходила заплаканная, в белой косыночке, боясь попадаться ему на глаза. И только на реке она была без косынки, и он заметил, что у нее на голове словно бы серая шапочка вместо волос. Ему тоже, конечно, неприятно было, его тоже никогда не стригли наголо, но он-то знал, что идет война, и не очень жалел.

Он вздохнул тогда и сказал:

— Без волос даже лучше. Не жарко. — И погладил себя по голове, словно по шершавой «шкурке».

Она потупилась и покраснела, разглядывая ракушки, и только темя ее стало как будто бы голубым и нежным под тонкими колючками волос, и пальцы ног стыдливо зарылись в мокрый песок.

А сегодня после завтрака он притаился возле железной бочки с тухлой водой и ждал, когда выйдет Гыра: надо было отомстить, потому что тот вчера плеснул ему этой тухлятиной в лицо и удрал.

Гыра был парень вредный, потому что двое уже в интернате носили обидные клички: одного он прозвал Пудиком, а другого — Цыпой. Ему нравились клички, и он охотно откликался на свою — Гыра, хотя звали его просто Женей. Он, наверное, придумал сам себе эту грозную кличку, чтоб избежать обидной. Хитрый был и обжора страшный, а говорил, как с кашей во рту. «Лопшля и пшленка — обошлешься!» — сказал Гыра как-то после обеда тем, кто ждал своей очереди.

Признаться честно, не очень-то хотелось связываться с этим Гырой: приклеит какую-нибудь кличку, потом не отлепишь никакими силами, а он и без того носил странное, как ему казалось, и смешное имя — Иннокентий, или Кеша.

Так вот, когда Кеша таился за железной бочкой, которая стояла на заднем дворе школы, и ждал Гыру, потому что Гыра всегда приходил сюда, на этот заросший травой и бурьяном двор, помочиться после еды и питья, — вместо Гыры во двор вышла Лариса Белякова. Гыра называл ее Ралисой. Она увидела Кешу и остановилась, а потом, вглядевшись и словно бы узнав, наконец спросила с удивлением:

— Что ты тут делаешь?

А он пожал плечами и сказал:

— Ничего, — хотя ужасно смутился, потому что пред-

ставил на миг, будто она могла подумать, что и он приходит сюда за тем же, что и Гыра.

— А что в этой бочке? — спросила она, подходя поближе.

— Тухлятина.

Она приблизилась к маслянисто-темной, мертвой какой-то воде, склонилась над бочкой, понюхала и сказала:

— Прудом пахнет.

— Каким прудом! Что ты! — воскликнул он и стал тоже нюхать воду.

Они теперь вместе склонились над застывшей водой. И он совсем забыл про запах, потому что вдруг увидел в черной воде, в этом черном зеркале, темное ее лицо, а рядом с ним свое, тоже темное, круглое, ушастое. Ее лицо было очень хорошее в этой тухлой тьме, и глаза ее были хорошо видны, большие и грустные. И он понял вдруг, что она тоже пристально смотрит на отражения, едва колеблемые дыханием.

— А мы как негры! — сказала она удивленно.

— Ага, — согласился он.

Запах тухлой воды, который только что казался ему отвратительным, стал вдруг входить в сознание живым каким-то запахом. Кеша втягивал воздух и не чувствовал брезгливости. Скорее наоборот — ему нравился этот густой тягучий запах! А те мгновения, когда они, склоняясь над железной бочкой, вместе смотрели в черноту ее тухлой воды, показались ему бесконечно долгими и радостными, тревожными минутами.

— А косынка у тебя белая, — сказал он.

— Это потому, что ее солнце освещает, — ответила она. — А я знаю, где тут есть... настоящая пасека.

Она окунула пальцы в воду и сразу взъерошила отражения.

— Фу! — сказала она. — Действительно тухлая! А мы как дураки...

Светило солнце, мир был ярок и свеж, за школой галдели, били по мячу, смеялись ребята, на лугу перед селом паслись белая коза и два серых козлика, а из-за угла школы выглядывал Гыра и злорадно улыбался.

— Ой, держите меня! — заорал он вдруг во всю глотку и захохотал, хватаясь за живот. — Держите меня! Они пили из бочки!

— Дурак! — крикнул ему Кеша в отчаянии. — Сам ты пил! Дам по уху, тогда будешь орать...

Лариса взяла вдруг Кешу за руку и решительно сказала:

— Пошли отсюда, от этого полоумного подальше...

И Кеша, подчиняясь, пошел за ней следом, хотя руку из ее руки постарался высвободить, потому что Гыра, видя все это, падал на траву и дрыгал ногами. К счастью, никто из ребят не пришел на его хохот и крик.

Кеша был, конечно, смущен, когда Лариса, взяв его, как маленького, за руку, на глазах у этого Гыры повела прочь, куда-то в сторону села Незнанова, к белой козе с козлятами, и внутренне весь сопротивлялся этому, хмурился и молчал, не понимая своей покорности и стыдясь ее. А Лариса шла в розовом сарафане чуть впереди его и грустно взглядывала, словно бы оправдывалась.

— Не расстраивайся, — сказала она с просьбой в голосе. — Пожалуйста! Этот Гыра как вода в бочке: тронешь — и запахнет гадостью всякой... Ты его обязательно стукни как-нибудь разочек. Только без меня. Ты с ним сладишь, я знаю... Как следует стукни...

— Да хоть сейчас! — сказал Кеша воинственно.

— Не-ет, сейчас не надо. Мы ведь на пасеку с тобой собрались...

Они шли по зеленой выщипанной шерстке, на которой паслись серые гуси. И всякий раз, когда проходили мимо гусей, Лариса пугалась гневного их шипения, изогнутых шей и, сторонясь, не спускала с них глаз. Взгляд ее ста-

новился оторопелым, а протянутая к Кеше рука вздрагивала и волновалась, словно Лариса шла по жердочке через ручей, ища рукой невидимую опору. А Кеша, который тоже побаивался этих клювастых и важных птиц, шипящих по-змеиному, сохранял спокойствие и чувствовал себя чуточку храбрецом на этой зеленой деревенской улице.

Потом они вышли к кладбищу, к облезлой церкви, в которой был клуб. Там, возле церкви, хоронили мертвых, там было много красной бузины и крестов. Они туда не пошли, а по тропочке под липами — огромными и раскидистыми, которые были посажены, наверное, очень-очень давно, — миновали кладбище. Пахло липами. Деревья уже зацвели и от множества соцветий казались гигантскими букетами.

— А я совсем не боюсь ходить по кладбищу, — сказала Лариса, когда они вышли к чечевичному полю. — Чего бояться-то, правда?

— Конечно, — согласился с ней Кеша, слыша позади птичий гомон и писк. — Мы, когда бабушку хоронили, я с мамой... потом уже... в темноте совсем... мы были... у нас дома там такие, знаешь, кустики на кладбище, а на них зеленые такие колбаски. До них дотронешься, а они — трык! — в пальцах сворачиваются, как пружинки, а горошинки маленькие разлетаются... А у вас на кладбище есть такие?

— Не знаю, — сказала Лариса удивленно. — У нас, по-моему, никакого и кладбища нет...

— Ну как же нет?

— Не знаю... У нас во дворе лепешечки растут, и мы их ели... всегда. Тут почему-то таких нет. Кеша, а твой папа на фронте?

— На фронте. А твой?

Лариса вздохнула и сказала:

— Тоже. Я видела, тебе письмо недавно было... От папы?

— От отца...

— А мой не пишет... Мама только...

— Фотокарточку прислал, — сказал Кеша с хвастливым и жестоким превосходством. — Они там сидят, наверное, около аэродрома на земле, и отец смеется.

— Он летчик?

— Нет, он не летчик... он вообще механик, самолеты чинит. Пробьют крыло, а он починит. А форма у него как у летчика.

— А мой папа... Мы на даче жили, когда началась война... А он рыбу ушел еще вчера... ловить... Ну... вечером вот... Потом пришел и ничего не знает... А мы с мамой ждали, ждали. А папа пришел и говорит... и спрашивает: «Вы чего это носы повесили? Я рыбы наловил». А мама ему говорит: «Война». Он собрался и уехал... А рыба вся испортилась...

Чечевичное поле с белесой от пыли большой дорогой, вдоль которой далеко-далеко уносили куда-то столбы провисшую от жары проволоку, темно зеленело перед глазами. А два человечка шагали вдоль вереницы столбов и говорили о войне, о своих отцах. Один говорил, радуясь, а другой человек — печалясь. И они плохо понимали друг друга.

— Кеша, — вдруг сказала Лариса, все убыстряя шаг, — давай с тобой потихонечку от всех дружить.

Он тоже пошел ходче и, не глядя на нее, сказал:

— Давай.

— Только — никому! — сказала она. — А потом, после войны, когда мы будем большими, мы с тобой поженимся. Как все.

Она это сказала так, будто для нее это был давно уже обдуманный и решенный вопрос — дело оставалось только за временем, за очень медлительными, долгими годами. Он, в свою очередь, тоже подумал, что хорошо бы скорей стать большим и жениться на ней: проснуться бы завтра

и... Но он так разволновался, услышав эти ее неожиданные слова, что никак не мог ничего сказать в ответ. А она шла чуть впереди него в насквозь пропыленных сандалиях, в розовом сарафане-колокольчике, худущая и смуглая, и он видел только очень красивый овал ее щеки, кончик носа и немножечко подбородок... И ему вдруг стало очень обидно, что им еще просто нельзя, просто никак невозможно жениться. В сознании своем он успел уже построить за эти мгновения целый комплекс каких-то непредвиденных обстоятельств, случайностей, которые могут все изменить, все разрушить, потому что впереди слишком уж много лет. Ему даже страшно стало, когда он подумал об этом или, вернее, когда почувствовал и ощутил, что Лариса может не навсегда быть только для него и только с ним, как теперь. Он даже успел разозлиться на нее за это.

— Смотри только! — сказал он неожиданно для самого себя мрачно и угрожающе. — Если ты все это врешь!

А Лариса тоже рассердилась и сказала:

— Ну и ладно. Я пошутила.

Она вдруг остановилась посреди дороги, повернулась к нему, насупленная, и хмуро сказала:

— Никуда я не пойду.

Он не ожидал этого и растерялся, но тоже остановился и сказал со злостью, поглядывая исподлобья на нее:

— Ну и не ходи!

Так они впервые в жизни поссорились.

Она стала снимать с ног сандалии и вытряхивать из них пыль. А он увидел в чечевичных зарослях плеть гороха, выдрал ее с корнем и стал есть зеленые, нежные, водянисто-сладкие стручки, сплевывая жвачку в пыль.

— Ну чего ты разозлилась? — спросил он, когда Лариса снова надела на ноги сандалии. Он заговорил именно в этот момент, ибо понял, что она и впрямь может сейчас повернуть домой.

— Я?! — удивилась она.

— А я, что ль? Я потому что... ты ничего не понимаешь! Я и не злился на тебя никогда.

— И я тоже.

— Хочешь гороху?

Лариса с сомнением посмотрела на протянутые стручки.

— Неспелый, — сказала она.

Но Кеша стал нахваливать и уверять, что это самый вкусный горох — неспелый и что потом, когда горошины будут твердыми, их и в рот-то не захочешь брать...

— Попробуй, — говорил он. — Они сладкие...

И она взяла протянутый стручок, который был еще совсем прозрачный, и еще даже цветок не отлетел от его острой макушки, а по просвеченному краешку смутно темнели изнутри и чуть бугрили глянцевую кожицу будущие горошины.

Так они тоже впервые и тоже незаметно для себя легко помирились, и Кеша стал рассказывать ей, как он вчера курил с ребятами свернутые в трубочку табачные листья — «сигару».

— Противно? — спрашивала Лариса с отвращением.

А Кеша, которому и в самом деле было противно держать во рту дымящийся, свернутый в трубку табачный лист, от которого щипало губы и язык, отвечал ей с ухмылочкой:

— А как же все-то?

— А ты не будь как все.

— Почему?

— Потому, — с упрямством в голосе говорила Лариса.

Тем временем чечевичное поле осталось позади, и лесочек, который совсем недавно казался просто какой-то мутью на горизонте, надвинулся, вознесся к небу, стал зеленым и курчавым, и уже слышно было, как цвиркали там потихонечку птицы...

Кеша спросил:

— Ты здесь бывала?

— Не-а... — протянула Лариса беззаботно, и он с удивлением увидел, как она, сойдя с дороги, стала рвать львиный зев, словно бы ей ничего и не надо было больше.

— А про пасеку откуда знаешь?

Она вдруг смутилась и, краснея, сощурилась виновато.

— Кеша, — сказала она, — я пошутила. Просто хотелось куда-нибудь удрать, а я одна... И придумала про пасеку... Ты ведь не сердишься на меня? Кеша?

...И вот теперь, заблудившись в лесу и выйдя на какое-то незнакомое поле, они шли по цветущей траве к череде берез, думая, что березы растут вдоль дороги, которая куда-нибудь да выведет. Впрочем, думал об этом один только Кеша. Лариса просто шла по пятам и, хоть очень устала, все равно успевала срывать красивые кашки, похожие на маленькие розы, все увеличивая и без того огромный и, наверное, тяжелый букет, который она неизвестно зачем тащила, прижав к груди.

Им повезло, потому что за березами и в самом деле была проезжая дорога со следами колес, и, хотя она не была похожа на ту пыльную и широкую дорогу, по которой они шли сегодня к лесочку, радость их была беспредельна. Лариса даже вскрикнула от той радости:

— Ура! — ра! — ра! — ра! — ра! — ра! Ура!

А Кеша улыбнулся снисходительно и, поглядывая на Ларису, сказал ей, что теперь-то, конечно, можно и отдохнуть немножко.

Впрочем, минутная радость его вскоре сменилась новой озабоченностью, потому что Кеша совсем не представлял, куда и в какую сторону нужно идти. Спросить было не у кого, а березы... Уж очень не хотелось сейчас на дерево, да и вряд ли можно было рассчитывать, забравшись на одно из них, увидеть какое-нибудь село, или сам интернат, или хотя бы знакомые места, по которым они уже

проходили раньше, — кругом одни только луга и луга да цветы.

Он свалился в прохладную траву под березами, лег на спину, закрыл глаза и, видя сквозь веки полуденный свет, полетел. Ему было легко лететь в розовом, мутном сиянии, и какое-то воздушное течение плавно подхватило его, и он, невесомый, покачиваясь, плыл в этом течении, и ему чудилось, будто ноги поднимались все выше и выше, переворачивая его вниз головой, и ничего нельзя было поделать, словно ноги наполнялись каким-то летательным газом, словно газ этот стал уже распирать и раздувать ноги, которые приятно и в то же время тягостно начали побаливать... А голова была очень тяжелая, и вся кровь будто прилила к голове и бухала в висках, горячая и торопливая...

Веки у Кеши стали сами собой подрагивать, пытаясь раскрыться, и, как он ни старался продлить странное и непривычное состояние, зная, что все это ему только кажется, как он ни пытался еще немножко полежать в траве с закрытыми глазами, какая-то сила подняла веки, и он упал на землю. И почувствовал сразу ее неласковую жесткость.

Над ним сквозь листья посверкивало солнечное небо, листья чуть шевелились, и он бездумно и отрешенно стал смотреть на эти сверкающие листья, чувствуя и даже, кажется, слыша внутренним своим слухом, как гудят его натруженные, потяжелевшие ноги.

Он вспомнил о Ларисе и окликнул ее, все еще глядя на листья.

— Ты чего делаешь? — спросил он, когда она отозвалась.

— Тоже лежу.

— Устала?

— А ты?

— Я не устал.

— Я почему-то тоже не устала... Я тут землянику нашла.

— Много?

— Одну...

— Съела?

Лариса промолчала, и он услышал, как она поднялась, приблизилась и, невидимая, сказала где-то рядышком, сбоку:

— Закрой глаза.

Он легко подчинился, и Лариса положила ему в губы что-то маленькое, шершавое и круглое. Потом эта ягода, когда он раздавил ее языком, стала душистой и вкусной. А потом, как бритвой, резанула по пересохшему языку своей остротой. Он открыл глаза и увидел прямо над собой Ларису, ее худущие смуглые ноги с бурыми следами царапин, костистые коленки и счастливое ее лицо под косынкой.

«Смешная!» — подумал он застенчиво и спросил:

— А сама?

— Пить, Кешка, хочется ужасно!

— Да, — сказал он, вставая. — Надо идти. Ничего... Потерпи немножко, мне тоже хочется.

И не скоро бы они вернулись домой, если бы не встретилась им на этой дороге подвода. Чалая лошадка вразвалочку рысила им навстречу, а в небольшой телеге на зеленой травяной подстилке сидела старая женщина. И когда она остановила лошадь, то и от лошади, и от этой зеленой вянущей травы запахло так хорошо, что казалось, будто и нет на свете более знакомого, приятного запаха.

А когда женщина посадила их в телегу, Кеша и Лариса, которые только что взволнованно и наперебой объясняли ей, кто они и куда им нужно, сразу притихли.

Теперь страх прокрался в их души. Оба они хорошо себе представляли, что ожидало их в том доме, куда они наконец-то возвращались, и каждый из них уже

сейчас переживал это остро и болезненно. Лошадь резво бежала по крепкой и ровной дороге, и ее не нужно было подгонять, потому что она бежала домой. Старая женщина, не оглядываясь и ни о чем не спрашивая, тоже спешила домой. А Кеша, свесив ноги и вцепившись руками в гладкую жердину, завидовал чалой лошади и этой старой женщине, которым было сейчас хорошо и покойно, потому что они возвращались к себе домой без боязни и страха. Ему же придется спрыгнуть с телеги и вместе с Ларисой идти к своему живому, глазастому дому, который, казалось, схватит их за руки и стоголосо закричит: «Ага! Попались, субчики-голубчики!»

К интернату они подъехали со стороны табачного поля. Приземистое школьное здание, в котором разместили эвакуированных московских ребят, смотрело на них как раз своим главным фасадом, своими большими окнами и большими дверьми. Здесь всегда, в любое время дня, толпились ребята. И теперь нужно было идти на виду у всех по тропинке прямо к дому, который на этот раз был, как им казалось, зловеще насторожен и тих...

Лариса прижалась к Кеше плечом и, испуганно поглядывая на притихший дом, взяла его за руку.

— Да ты что!

— Боюсь я ужасно, — сказала она шепотом.

— Боюсь, боюсь, а чего бояться-то! — проворчал Кеша, хотя все в нем замирало и сжималось от страха и неизвестности.

Но он еще не подозревал, подходя к интернату, что те наказания, которые они получат от своих воспитателей и от начальницы, будут сущим пустяком по сравнению с наказанием, которое уготовили ему сверстники, сознание которых было уже не детским, но еще не стало и юношеским, а потому всякое сближение мальчика и девочки возбуждало в них какие-то туманные, пугающие представления. Они уже знали слово «любовь», но еще не доросли

даже до приблизительного представления, что же означало на самом деле это слово, которое вызывало у них интерес, но которое одни из них произносили со стыдливостью, с опаской и робостью, другие с наглой усмешкой, а третьи вообще не решались сказать его вслух.

Кеша и Лариса тоже не отличались в этом смысле от своих сверстников, но так уж случилось, что именно они поставили себя в такое положение, когда самым страшным для них словом с этого дня стало хорошее слово «любовь».

Да, их ругали, конечно, и воспитатели и начальница и грозились написать родителям об их поступке. На следующий день их выставили перед всеми на утренней линейке, и Лидия Федоровна говорила металлическим голосом о трудностях, которые переживает вся страна, и о легкомысленном поступке Кеши Казарина и Ларисы Беляковой, который они совершили в это трудное для всех и тревожное время. Все внимательно и хмуро слушали ее. Кеша почти не поднимал глаз, разглядывая машинально Ларискины сандалии, которые как-то смешно съежились на ее ногах, покоробились и задрали кверху круглые, настеганные, травой, облезлые носы.

Потом линейка кончилась, и они, не глядя друг на друга, разошлись, а Кеша, проходя мимо ребят, вдруг спиной услышал голос Гыры, который сказал всего-навсего:

— Ралиса... — обращаясь именно к нему, к Кеше.

В том слове и насмешку и презрение услышал Кеша, словно бы Гыра имел право на эту жестокую насмешку. Кеша весь собрался, напрягся, готовый тут же ударить по нахальной роже этого Гыры.

И если бы Кеша сейчас, сразу же после линейки при всех ударил Гыру и сшиб его с ног, ударил бы очень сильно и зло, усугубив и без того незавидное свое положение, тогда, быть может, он сумел бы как-то изменить отноше-

ние ребят к себе. Могло бы случиться так, что ребята отвернулись бы от Гыры или, во всяком случае, перестали смотреть на него как на вожака, а Кеше простились бы и невыкуренная сигара, и тухлая вода, которую он, так сказать, еще не смыл со своего лица, и эта затянувшаяся с утра до ужина прогулка с Ларисой. Все, конечно, могло пойти по другому руслу, если бы... Если бы Кеша хоть смутно догадывался о том, что означали все эти слова, жесты, поступки Гыры для будущей его жизни в интернате...

Но он не догадывался. Он просто злился. И в этот раз, услышав Гыру, разозлился ужасно, но простодушная и добрая его натура не отозвалась должным образом, потому что он совсем не понимал этого Гыру, не хотел понимать и принимать его всерьез, только удивляясь порой, почему доставляет тому удовольствие издеваться над ребятами, над ним в том числе, и всячески подчеркивать свое какое-то дурацкое превосходство... С некоторых пор Гыра ему стал противен — и все. Он не замечал никакого его превосходства, оно ему, в общем-то, не мешало жить. Собственно, его и не занимало все это, он вовсе не стремился быть вожаком, чувствуя себя достаточно самостоятельным для своих лет человеком.

Именно эта независимость вызывала у Гыры, который был старше Кеши — ему уже почти исполнилось тринадцать, какую-то неосознанную, но постоянную тревогу и раздражение.

Чувствуя в Кеше Казарине полную свою противоположность, Гыра настойчиво стремился подчинить его себе. А обстоятельства складывались сейчас в пользу Гыры.

Кеша не ударил Гыру, когда тот назвал его Ралисой. А Гыре нужна была победа как раз в этот день, когда заварилась такая история с девчонкой. И он победил.

Кеша даже не обернулся. А Гыра нагло смеялся ему вслед. Ребята тоже смеялись и кричали:

— Ралиса, Ралиса!..

Кеше хотелось плакать от обиды, и он все время щурился и смотрел поверх голов, чтобы не расплакаться. А получалось, будто смотрел он на ребят свысока и презрительно, и, видимо, это так и понималось ими, потому что даже те из них, на которых надеялся Кеша, не подошли, когда он остался один: то ли постеснялись, то ли в самом деле решили, что он зазнался.

А Лариса как ни в чем не бывало пошла со своими девчонками завтракать. И когда Кеша это увидел, он совсем растерялся и, оставшись в одиночестве на дворе, всхлипнул и что есть силы стиснул зубы.

А на завтрак была горячая отварная картошка, от которой шел пар, и половина большого холодного огурца. Картошка была молодая, но уже крупная и рассыпчатая, а огурцы с кислинкой — переросшие семенники с пожелтевшей кожей.

Кончался июль.

А когда он прошел и наступил последний летний месяц, стали по ночам греметь грозы и лить дожди. И это было очень кстати, потому что все уже пожухло от зноя, а дожди словно бы вернули к жизни и деревья и травы — все опять зеленело и цвело, как в мае.

Кеша свыкся уже со своим одиночеством и отчуждением, свыкся и с тем, что теперь на обеденных столах, на стенах и даже просто на вытоптанной земле на волейбольной площадке или на бочке с тухлой водой видел он вырезанные ножом, нацарапанные гвоздями или написанные мелом, карандашом, куском кирпича прочные и как будто извечные, привычные уже слова: «Кеша + Лариса = любовь».

Эти слова теперь были не только на стенах, на коре деревьев или на земле — эти слова теперь были навечно вырезаны в его сознании, в душе, ему даже порой казалось, что они были в воздухе, звучали там и звенели.

Первое время Кеша пытался зачеркивать, стирать, затаптывать эти слова, но потом смирился и незаметно для самого себя даже стал иногда откликаться, когда его называли Ралисой.

Что-то надломилось в нем, и он уже не мог, не имел как будто никакого права, не смел обижаться, когда его называли Ралисой или не приглашали играть в футбол, хотя он не хуже других гонял потрепанный мяч и не хуже других мог ударить по воротам...

Иногда ему доверяли место вратаря, но это было пустое место, потому что никто не умел и не хотел стоять в воротах и редко кому удавалось брать мячи; никто из вратарей не падал, конечно, в ноги нападающим, не брал угловые мячи, а надеялся только на свои ноги и не работал руками. Это было пустое место! И когда никто не хотел стоять в воротах, тогда кто-нибудь вспоминал о Кеше и кричал ему, а он всегда был где-нибудь поблизости, где-то в сторонке:

— Ралиса, вставай на кипера! Только смотри, гад! Держи ворота.

И Кеша, забывая о гордости, бежал обрадованно к пустой рамке ворот и очень старался, очень нервничал, падал с восторгом на идущий мяч, ловил его, но чаще пропускал, потому что он тоже, как и другие, не умел и не любил стоять в воротах. Да и матчи кончались обычно с огромным счетом.

Но всякий раз, когда проигрывала команда, в которой Кеша стоял за кипера, возбужденные и потные ребята в азартной злобе говорили между собой:

— Да этот Ралиса! Дырка.

— А кто его звал-то? Тебя кто просил в ворота? Эй, Ралиса!

— Ему в куклы, а не в футбол играть... Иди-ка ты к своей Ларисе. Чего ты тут?!

А когда команда выигрывала, о Кеше забывали.

Но все равно это были лучшие минуты в его жизни, когда ребята, с которыми он играл, одерживали победу. Он радовался вместе со всеми и тоже посмеивался, улыбался, даже если Гыра вдруг, заметив улыбку, показывал на него пальцем и удивленно восклицал:

— А этот-то! Тоже выиграл! Хе-хе! Ралиса-то лыбится! Умора! Ну чего ты лыбишься?

— Да ладно тебе, — говорил ему Кеша с обидой, но уже без прежней злости и ненависти, которые он тоже незаметно для самого себя утратил, робея теперь перед этим Гырой и надеясь только на его снисходительность и доброту.

А Гыра безбоязненно мог теперь подойти к нему и отвесить «шелобан» по лбу — без злости тоже и без причины даже, а просто так, куражась у всех на виду.

И странное дело! Кеша переносил это спокойно и даже как будто весело, словно так оно и должно было быть теперь, словно это был единственный способ остаться среди разных — добрых, злых, умных и глупых — ребят, которые казались ему теперь такими славными и необходимыми, что он готов был вытерпеть ради них всевозможные унижения, лишь бы они не дразнили его, не чурались и не гнали от себя.

Он теперь не мог без них. Они теперь были нужны ему в жизни так, как никто никогда прежде не был нужен. Именно они, эти ребята, ровесники, с которыми связала его судьба, стали для него мерилом всех добрых и злых дел, стали судьями, которые, как ему чудилось в лучшие минуты, готовы были простить и забыть обо всем, если бы только не Гыра...

Впрочем, теперь и Гыра почти перестал обращать на него внимание. Просто он держал его на почтительном от себя расстоянии, не выказывая ему ни доброты своей, ни злости... Но близко все-таки не подпускал.

И когда Кеше нестерпимо горько становилось в одиночестве, когда он опять и опять понимал, что никто из ребят не хочет серьезно слушать его, серьезно говорить с ним, и когда наступало отчаяние, ему вдруг хотелось подойти к этому Гыре и попросить его по-дружески, попросить очень искренно, чтобы тот перестал к нему так относиться, а если Кеша в чем-нибудь виноват перед ним, то простил.

Это были тяжелые минуты, когда он так задумывался, не видя выхода и ни на что уже не надеясь. Будущее представлялось ему в эти минуты таким безрадостным и жестоким, что становилось страшно. И он завидовал всякому, кто не был, как он, отвергнут, кто мог спокойно сидеть в столовой и есть свою кашу или картошку с огурцом, зная, что никто не сыпанет вдруг соли в тарелку и не бросит огрызок огурца. Он не мог еще постичь истинных причин и размеров того горя, которое рухнуло вдруг на него и придавило, и потому оно казалось ему огромным, как жизнь, которую ни обойти и ни объехать.

Те дни, когда ребята работали на колхозных полях, пропалывая морковь или свеклу, а руки, пропитанные почерневшим соком, саднили от колючих сорняков, — эти дни миновали, и теперь ребят часто водили на далекие луга ворошить сено. Это была приятная и легкая работа, словно бы им разрешали взрослые люди делать что-то недозволенное — тормошить скошенное, подсыхающее сено, раскидывать его с весельем и беспечностью и слышать еще к тому же благодарность от колхозников за свой радостный и какой-то душистый труд. Намахавшись за день граблями, чувствуя приятную ломоту в плечах, они приходили на реку купаться.

Кеша обычно сидел в сторонке и пересыпал текучий сухой песок, который просачивался сквозь пальцы, и песчинки, увлекая друг дружку, ускользали из рук... На это можно было смотреть бесконечно, как на огонь или воду, и ни о чем не думать. Это было приятно. Иногда ему попадался на глаза черный муравьишка, и он засыпал его песком, а потом долго ждал, когда на скате ровной песчаной пирамидки вдруг начнут пошевеливаться песчинки и вороненый муравей как ни в чем не бывало выберется наконец из-под тяжелого песка.

...Река протекала здесь чистая и глубокая, с темными омутами под нависшим ивняком и желтыми перекатами. И вода была теплая. А там, где был песок, там были мелкие и тихие заводиночки, вода в которых особенно сильно прогревалась под солнцем. Там хорошо и вкусно пахло рекой, там собирались стайками крошечные мальки величиной с овсинку. Они все разом серым каким-то дымком вытекали вдруг из заводи, когда Кеша приближался к ней, и только редкие из них метались, посверкивали искорками, не видя в панике выхода в реку.

Однажды Кеша увлекся и далеко ушел от пляжа, а потом, когда возвращался, увидел Ларису. Она, не замечая его, шла по-над берегом с подружкой и собирала цветы. Кеша испугался и бросился в куст, притаившись там, в его гущине над водой.

На Ларисе был тот же розовый сарафан, но только теперь он казался белым, потому что выгорел за лето, словно бы отцвел, а на голове была тоже выгоревшая, светлая тюбетейка, из-под которой на лоб уже стала наползать черная челка отрастающих волос. И сама она вся почти черной казалась, потому что шла по вершине крутого бережка на фоне огромного слепящего неба, которое сплошным сверкающим солнцем, сплошным каким-то сиянием возносилось над ней, над зеленым берегом, и над белыми песчаными плешинами, над кустами ивняка, росши-

ми на этом песке. А в этом ярком мире кучились в небе прозрачные облака, и чудилось, будто они были выше солнца.

Так ее увидел Кеша в это мгновение и, обмирая, смотрел на глиняную обожженность ее острых плеч, на смуглую ее щеку, и всем своим существом чувствовал, как она красива теперь, и как хорошо, что она живет в интернате и, наверное, еще долго будет жить, потому что война, и как странно теперь знать, что именно с ней и совсем еще недавно ходили они, потеряв дорогу, по лугам, с ней говорил он и слушал ее... И все это казалось ему теперь, когда вот уже чуть ли не месяц они избегали друг друга, какой-то доброй и заманчивой, очень хорошей неправдой, так как все тогда было просто и ясно, а теперь он боялся ее и не смел подумать, чтобы так же, как раньше, встретиться с ней и хотя бы сказать ей «здравствуй». Теперь это было почти невозможно. Теперь он мог лишь исподтишка смотреть на нее и вспоминать с удивлением и восторгом... Так же вот, как и сейчас, в ивовых зарослях.

— Смешно! — сказала Лариса своей подруге. — Ты очень смешно говоришь.

Он и голоса ее тоже давно не слышал. А теперь она словно ему сказала: «Очень смешно говоришь». Он даже затаил дыхание — так неожиданно это было.

— Почему же? — возразила ей та.

— Нет, Вера, странно... Глупая! Неужели ты думаешь... Он мне совсем не нравится...

В первое мгновение, когда он так близко услышал ее голос, его испугало вовсе не то, что кто-то ей совсем не нравится, а испугало, что она, говоря про это, могла вдруг увидеть его и очень смутиться, могла растеряться вдруг и покраснеть от стыда, а потом долго переживать свое признание, которое он невольно подслушал. Ему было неловко за нее и не хотелось делать ей больно, потому что, быть может, это о нем она говорила: «Он мне совсем

не нравится», потому что о ком еще из ребят могла бы она так сказать?

«Конечно, обо мне, — подумал внезапно Кеша с удивлением. — Почему? «Он мне совсем...» Почему «совсем не нравится»... Я?»

— Нет, Вера, — говорила Лариса, скрываясь уже из виду, — я не могу этого сделать. Это будет нечестно. Я все уже поняла... Все! Честное слово. А если мальчишки всякое там пишут на столах, то и пусть. Меня не касается...

И теперь, когда Кеша окончательно понял, что Лариса и в самом деле говорила о нем, когда он осознал все это и уже где-то внутри себя услышал ее слова, интонацию, с какой она произносила: «Он мне совсем не нравится», он подумал в смятении:

«Ну нет же, конечно! Может, вовсе не обо мне... Она говорила: «Я же его не просила, он сам». А что сам? О чем она меня не просила? Ничего этого не было? Не было. Значит, она о ком-то другом сказала. Она не такая. Она не может. Просто притворяется. И скрывает. Ну и хорошо, что скрывает».

И когда он незаметно, кустами и по воде, вернулся на пляж, на котором все еще шумно возились уже озябшие ребята с пыльными спинами, ему стало совсем тяжело, как будто он очень, очень устал.

— Казарин! — услышал он голос воспитательницы. — Кеша! Ты что, оглох? Мы скоро уходим. Ты не будешь купаться? Заболел?

— Нет, — ответил Кеша.

— Что «нет»? — спросила Анна Сергеевна.

— Не заболел. Не хочется мне.

— Сейчас же в воду!

И Кеша, подчиняясь, пошел. Вода показалась ему ледяной, и он, зайдя по колено, остановился, не решаясь идти дальше, и почувствовал, как холод сковывает не-

стерпимой болью все его тело. Он сделал шаг и еще и услышал вдруг сзади топот по песку и тут же брызги, но было поздно, потому что хохочущий Гыра, а с ним еще трое толкнули его, схватили ледяными руками и, хохоча, поволокли на глубину, туда, где было по шею.

— Ну что! — сказал он с отвращением. — Ну зачем? Пустите... Да пустите же...

Он не кричал и не смеялся, он говорил это тихо, с брезгливостью в голосе, понимая, что бесполезно спорить или кричать. Надо было смеяться, а он не мог в этот раз. И никто ничего не понимал. Его окунули и отпустили на глубине, а Гыра стукнул ладонью по воде, направив брызги прямо ему в лицо, и Кеша зажмурился, чуть не заплакав от обиды.

— Гад, — сказал он тихо и зло и посмотрел с ненавистью в хохочущие Гырины глаза.

А Гыра удивленно замер и с застывшей ухмылкой сказал:

— Повтори...

— Гад, — так же тихо сказал ему Кеша.

— Хочешь утоплю? Хочешь наглотаться?

— Учти, Гыра, — неожиданно для самого себя еле слышно сказал Кеша, — если ты сейчас дотронешься до меня, я вцеплюсь в тебя зубами, утащу на глубину и утоплюсь вместе с тобой... Учти это, Гыра...

— Тронулся? — спросил Гыра с удивлением и захохотал опять.

Но смех его был на этот раз напряженным и скованным, потому что озябшие ребята вышли уже на песок, а Кеша стоял рядом с ним на глубине и с нешутейным безумством говорил ему, шевеля посиневшими губами:

— Уйди, Гыра... Я не отвечаю за себя... Уйди.

— Э-э-эй! — крикнул вдруг Гыра на всю реку. — Давай сюда!

Но Анна Сергеевна никого не пустила: все и так уже перекупались. А Кеша, тяжело идя к берегу, с ужасом и смятением думал о своей бешеной смелости, которую Гыра, как всегда, не простит, конечно, и что-то еще придумает, чтобы отомстить. Сердце колотилось так, что чудилось, будто оно колотилось в горле. Кеша уже жалел о случившемся.

Но Гыра не спешил. Он как будто бы не придал никакого значения случившемуся, забыл обо всем и не хотел вспоминать. И только спустя много дней, когда Анна Сергеевна, очень еще молодая и милая учительница, видимо уловив в Гыре какие-то способности подчинять себе ребят, назначила его старостой старшей группы, Кеша узнал наконец жестокую Гырину месть.

Анна Сергеевна, муж которой, воюя с первых дней, давно уже не писал, была поглощена невеселыми своими мыслями: ей было страшно, и она даже чувствовала потребность бросить всю эту возню с детьми и уехать в Москву, чтобы находиться поближе к фронту, поближе к мужу, к главным событиям войны, которые там, в Москве, конечно, осмысливались отчетливее и яснее, чем здесь. В этом своем состоянии душевной тревоги она не очень-то задумывалась, кого назначить старостой, ибо ей хотелось в какой-то степени освободить себя от ежечасных дум о ребятах, от постоянного беспокойства за них — просто нужно было найти властного и послушного ей парня, которому смогла бы она доверять. Выбор пал на Гыру, а ребята, когда Анна Сергеевна объявила об этом своем решении, хором поддержали ее.

Ребята из старшей группы, как, впрочем, и все остальные, жили в большой двухоконной светлой классной комнате. Школа была только что выстроена, и в ней еще ни разу не звенели звонки. Она, конечно, не была похожа на московскую четырехэтажную, но все-таки это была хорошая кирпичная школа с большими окнами, с большими

классами, стены которых были окрашены в желтый приятный цвет, а рамы и двери — в белый.

В комнатах, в которых собирались в этот год учиться сельские ребята, теперь стояли деревянные топчаны, застеленные разноцветными ватными и байковыми одеялами — теми самыми одеялами, какими снабдили своих детей родители, отправляя их в интернат. Топчаны стояли почти вплотную друг к дружке, упираясь торцами в стены, и все ребята как будто бы были равны, но все-таки в каждой комнате имелись такие местечки, которые считались предпочтительнее и удобнее других: например, в углах около окон. Это были самые лучшие места, потому что можно было лежать, отвернувшись к стенке, а можно было смотреть в окно... Были и другие места, похуже — вдоль стен. Но были и вовсе плохие два места по обе стороны входной двери.

Одно из лучших мест занимал в комнате Гыра: он спал на топчане, который стоял в углу около окна. В другом углу комнаты с самого первого дня поселился Кеша. Это произошло случайно, когда их только что привезли и лишь успели распределить по группам и комнатам. Кто-то из ребят, видимо часто бывавших в пионерлагерях, крикнул вдруг громко: «Места занимайте!» И Кеша, стоявший возле дверей, кинулся в комнату первым и, сообразив, в чем дело, занял светлый угол.

Несколько ночей ребята спали кое-как на полу, на сенных матрацах, пока им не сделали деревянные топчаны, непривычно высокие и громоздкие, как верстаки. Но зато с высокого топчана Кеша мог подолгу смотреть в окно, даже не поднимая с подушки головы, и часто так и засыпал.

Гыра выменял свое место на перочинный нож, который он, кстати, потом получил обратно без всяких разменов.

Кеша очень дорожил своим местом. На стенке над

постелью висели приклеенные хлебным мякишем цветные почтовые открытки, присланные отцом: наш танк с огромной, яростной скоростью врезается на бугре и вздымает ударом квадратный танк с ненавистным крестом на башне; наш красный «ястребок» взмывает в голубое небо, а вниз летит, оставляя за собой черный дым, черный самолет с крестами на крыльях — «Смерть немецким оккупантам!». По вечерам, когда в приятной дремоте Кеша смотрел на эти картинки, он начинал порой слышать ревущий грохот машин и гром удара и видел тогда, как сметенный с бугра фашистский танк разлетается на куски, а наш несется дальше, лязгая траками гусениц, вздрагивая от пушечных выстрелов, которыми разит он другие танки, оставшиеся там, в стороне, слева, не увиденные художником, но которые видел своим воображением Кеша... А когда он смотрел на воздушный бой, то садился в тесную кабину пилота и вглядывался в небо, ища противника; заметив же немецкий самолет, бросался сверху, слыша звон мотора и нажимая на гашетку, когда самолет попадал в прицел, и восторженно видел пламя, которое вдруг вырывалось вместе с черным дымом из подожженного крыла, и самолет с крестами, падающий вниз, как и тот, который был уже подожжен на картинке.

Две почтовые эти открытки всегда висели перед его глазами, и он так привык к этим ярким картинкам, что порой они для него становились какими-то чудесными окнами в мир фантазий, в мир боев и побед.

А отец писал ему крупными четкими буквами: «Здравствуй, дорогой мой сын. Здравствуй, Кеша. Я жив, здоров и тебе того же больше всего на свете желаю. Пиши мне почаще. Если получишь письмо от мамы, пиши и об этом. Как ты живешь? Как дружишь с ребятами? Что делаешь? Пиши обо всем. И будь здоров. Недавно я видел пленного немца-летчика, который опустился на парашюте в лес. Мы поймали этого бандита, его сбили наши со-

колы в небе над аэродромом, как и того, который нарисован на этой открытке. Он сдался в плен и говорил: «Гитлер капут». Ну, будь здоров, Кеша, дружи с ребятами, не давай себя в обиду, но и не обижай никого, особенно младших. Я уверен в тебе. Твой папа».

Эти лиловые строчки были повернуты к стенке, но, когда вдруг Кеша вспоминал о них, ему становилось очень и очень стыдно перед отцом, который совсем не знал о том, как трудно ему жить теперь, какую обидную кличку дали ему и как все изменилось в жизни, так изменилось, что и писать не хочется.

«Зачем же тебя обманывать, папка? — думал он. — Ты уж не обижайся, что я не пишу. Чего же писать-то! Я у тебя дурак и совсем никуда не гожусь. Ты и не знаешь, какой я по сравнению с другими трус. Ты и не поверишь даже. А я ничего не могу. Я даже часто плачу, и мне совсем не стыдно плакать, потому что обидно очень. И меня никто не любит и не дружит со мной, как будто я глупее всех. А это неправда».

Так порой разговаривал Кеша с отцом, и казалось тогда, будто горло его разрывала ангинная боль, и трудно было терпеть этот тайный болезненный взрыд, остановленный в горле. И дышать было больно и трудно. Но все-таки еще хуже было, когда этот взрыд прорывался вдруг, и Кеша мучительно всхлипывал, прислушиваясь в страхе: не услышал ли кто в ночи этот всхлип, похожий на жалобный крик...

Но он не смог утерпеть и унять своих слез в ту ночь, когда впервые вынужден был улечься на чужое место, на чужой топчан, который стоял около самой двери.

А случилось вот что. Он вернулся после ужина в комнату. Весь день и весь вечер лил бесконечный, холодный дождь. Рано стемнело. В школе пахло дымом, потому что впервые топили новые печи.

Тепло они все-таки дали, и в этом продымленном, душном тепле, как всегда, гомонили ребята: боролись, возились на измятых кроватях, писали письма за столом, читали, играли в самодельные шашки. Но все притихли, когда в комнате появился Кеша. А он, не глядя ни на кого, сразу увидел в своем углу Японца, который лежал на кровати, отвернувшись к стене.

Это был щупленький и невысокий, безымянный паренек с прищуристыми глазками, за которые прозвал его Гыра Японцем. Именно этот парень когда-то выменял свое место на перочинный нож, оставаясь с тех пор на Гырином топчане, а теперь вот лежал в Кешином углу и, видимо, притворялся спящим. Кеша тронул его за ногу, но Японец подобрался весь, согнул ноги в коленях и не двинулся.

— Не буди человека, — сказал вдруг Гыра. — Он хоть и Японеч, а шпать ему тоже охота.

Кеша в растерянности посмотрел на Гыру, который сидел за столом и хмуро читал какую-то книжку.

— Почему же?

— Твое мешто теперь на проходе.

Этого Кеша никак не ожидал.

— Да ты что, Гыра! — сказал он удивленно.

Кое-кто из ребят ухмыльнулся, а кто-то потупился, не желая встретиться взглядом с Кешей. Тогда Гыра отложил свою книжку («Книга за книгой», — машинально прочел на потрепанной обложке Кеша) и спокойно сказал:

— Мы о тебе жаботимся, Ралиса. На уличе холодно, из окошка дует — проштудишься. А там тепло. Видишь, там печка у шамой головы. Иди туда. Иди.

Он равнодушно смотрел на Кешу и ждал чего-то.

— У тебя ведь нашморк? — спросил он опять. — Вот иди и погрейся. А Японеч там будет шпать. Мы даже картины твои перевесили. Я их приклеил, а они не жахотели: печка горячая — обожглись.

И тут только Кеша увидел бугорки засохшего хлеба на стене — все, что осталось от отцовских открыток. И одеяло было чужое. И подушка.

Все перемешалось у Кеши в сознании, все его чувства и мысли; какие-то слова хотели, но не могли прорваться сквозь эту мешанину, что-то мешало им.

Какие-то силы поднимали его, и бешенство подступало к глазам, но другие силы усмиряли это буйство, и тело утопало в слабости. Страх готов был перейти в бесстрашие, а бесстрашие тонуло в мерзком и ватном страхе. Все границы чувств были открыты, все перепуталось, сбилось в одну какую-то кучу, и Кеша, ослабнув вдруг под этой тяжестью, печально и затравленно улыбнулся, и у него сразу намокли от слез улыбающиеся глаза.

— Ладно, — сказал он то ли с угрозой, то ли со смирением. — Ладно, ладно...

И пошел прочь из комнаты.

А Гыра бросил ему вслед:

— Если что Анне Сергеевне — будет темная.

Ребята молчали. И только когда Кеша затворил за собой дверь, они возбужденно заговорили все сразу, загалдели. Но о чем они говорили, Кеша уже не слышал. Да и не мог слышать, потому что в ушах его бухало, и он ощупью шел по коридору, думая только о том, куда и зачем он идет: ведь на улице дождь. Ему совсем никуда не хотелось идти, а тем более к Анне Сергеевне, которая назначила Гыру старостой. В коридоре все еще пахло недавним ужином и слышно было, как звенели вилки. А в столовой за дверью о чем-то разговаривали воспитатели. Кто-то из них засмеялся вдруг.

«В уборную надо сходить», — подумал с облегчением Кеша и направился к выходу. В этом была хоть какая-то цель.

Подойдя вплотную к двери, Кеша нащупал железную хлипкую ручку и вошел. Ногой наткнулся на приступок

с дырками и собрался уже помочиться, как вдруг услышал в дальнем углу какой-то плаксивый писк.

Этот протяжный и робкий писк оборвался всхлипом, потом опять комариной ноткой вкрался в шелест дождя.

— Эй, — сказал Кеша вдруг осевшим голосом. — Ты чего? Кто тут?

Писк утих, и Кеша услышал, как кто-то переминался с ноги на ногу, затаивая всхлипывающее, судорожное дыхание.

— Ты чего плачешь? — снова спросил Кеша.

— Ни... — ответил кто-то, не справляясь с рыданиями, — ничего...

По голосу Кеша догадался, что это был какой-то малыш, наверное из младшей группы, и сказал ему:

— Ты что здесь? Провалился? Где ты?

— Никуда я... Никуда я...

— А что ты плачешь?

— Я никак...

— Чего? — удивленно спросил Кеша.

— От штанов...

Кеша равнодушно-грустно улыбнулся, когда услышал это «от штанов».

— Какие еще штаны? — спросил он. — Что ты выдумываешь?

— Пуговица оторвалась.

— У тебя сбоку застежка, что ль? — догадался Кеша.

— Да.

— Так ты рукой держи и не соскочат... Вот чудак-то! Ты кто? Как тебя зовут?

— Валька.

— Рыжий, что ль?

— Нет... другой Валька.

— Чего же плакать-то?

Валька никак не мог успокоиться и говорил сквозь

душившие его рыдания, шумно дыша носом, всхлипывая и в то же время крепясь что есть силы.

— Мне, — сказал он отрывисто, — домой... очень хочется...

— Ну пошли, я тебя провожу.

— Мне... совсем домой... хочется...

Кеша ничего не ответил на это и «сдуру» — как он подумал потом — сам чуть было не всхлипнул, услышав это Валькино «совсем домой хочется». Он вдруг хорошо как-то понял родственную эту душу, которая жаловалась ему в смердящей тьме холодной уборной, которая выплакивала великое свое горе, забившись в темный угол, которая именно здесь была ранена, наконец, убита горем, убита бесконечно черной ночью, осенним дождем, шумевшим за дощатыми стенами, была смертельно ранена невозможностью сейчас же, сию минуту, позвать сюда самую любимую, самую дорогую и все понимающую, ласковую маму, без которой стало уже невозможно жить, просто не было уже никаких силенок терпеть эту страшную отдаленность от нее. Валька, быть может, стерпел бы еще и не расплакался здесь, но, на беду, вот пуговица вдруг отлетела от штанов, покатилась куда-то в потемках и пропала. А другой ведь не было. И воспитательница что-то скажет теперь: может быть, нет у нее больше пуговиц... Только у мамы... А мама далеко... А он без нее такой несчастный, так обижен судьбой, что просто невозможно больше терпеть и терпеть. Вот и заплакал. А когда расплакался — испугался. Вернется в комнату, а там ребята. А он заплаканный и штаны рукой поддерживает, чтоб не свалились. Ребята смеяться будут. Вот и остался тут.

Кеша хорошо вдруг все это почувствовал и понял Вальку с его злосчастной пуговицей. Он сам горько вздохнул и сказал:

— А говоришь, пуговица.

— Ага...

— Да черт с ней. Пошли. Не ночевать же здесь.

И Кеша словно бы кожей ощутил, как приблизилось к нему во тьме что-то теплое и несчастное, он словно бы услышал запах горячих слез.

— Иди за мной, — сказал он, протягивая Вальке руку.

Валька был маленький, и плечи его были хилые, непрочные, как будто из хрящика, а голова казалась большой и тяжелой, как булыжник.

Когда они вошли в школу, Валька наконец притих и старался, наверное, совсем не дышать. Только носом хлюпал.

— Помойся, — сказал ему Кеша. — Пойдем я тебе помогу.

И он в потемках сполоснул Валькино горячее лицо и даже вытер его своим носовым платком. Фонарь «летучая мышь», который висел в «умывалке», светил так тускло сквозь закопченное стекло, что никто и не обратил внимания на Кешу и на Вальку. Да и зашли-то сюда только две девчонки, которые долго бренчали железными сосками рукомойников, умываясь перед сном, и не смотрели на них.

— Пора, Валька, спать, — сказал Кеша, когда они снова вышли в коридор.

И Валька, не прощаясь, пугливо заторопился к своей комнате, поддерживая рукой короткие летние штаны с застежкой на боку. А Кеша долго еще стоял в нерешительности и очень жалел, что Валька этот живет в другой комнате и младше его, наверное, года на четыре.

А когда Кеша, превозмогая себя, открыл дверь своей комнаты, он увидел Анну Сергеевну, которая сидела за столом и что-то читала ребятам вслух, как всегда это де-

лала перед сном. А ребята лежали в своих постелях и внимательно слушали ее. В комнате на столе горела одна только лампа. Она стояла как раз над тем местом, где было вырезано ножом и обведено чернилами «К+Л= любовь». Анна Сергеевна строго посмотрела на Кешу и, прервав чтение, сказала:

— Мы все очень рады видеть вас. — И хмуро улыбнулась.

А Гыра подскочил вдруг на своем топчане и, корча рожи, пропел елейным голоском:

— Слава аллаху! Вернулся наш великий путешественник. Аминь!

Это вызвало сразу привычный гогот, хотя и не было тут ничего смешного. Анна Сергеевна, ни о чем не подозревая и не питая, конечно, к Кеше Казарину никаких особых чувств, тем более чувств, похожих хотя бы отдаленно на какую-либо неприязнь или пренебрежение, спросила между тем:

— А ты перебрался поближе к печке? На тепленькое местечко? Быстро ты... — И она, видя перед собой покорного и, как, наверное, ей казалось, виноватого Кешу, спросила у Гыры, называя его, конечно, по имени:

— Женя, а ты где был? Ты же староста. Он у тебя спросил?

— Да, — сказал Гыра. — Пушкай греется.

Кеша, не веря своим ушам, смотрел то на Гыру, то на Анну Сергеевну, которые, как это ни странно было, еще и осуждали его за то, что он ложился теперь спать скрепя слезы у горячей печки, а не у милого своего окна, хотя осуждение их было скорее насмешливым, чем строгим. Но больше всего его мучило и угнетало то, что Анна Сергеевна верила Гыре, и никакими силами нельзя было ей сейчас доказать, что он, Кеша Казарин, совсем не хотел перебираться к теплой печке и что его заставили это

сделать. Он понимал, что если даже сказать сейчас об этом Анне Сергеевне, то все равно она не поверит. И Гыра это тоже хорошо понимал: в таких делах он был расчетлив и хитер, как росомаха.

— Ладно, ребята! — сказала Анна Сергеевна. — Ложитесь-ка спать... Нос в подушку.

— Анна Сергеевна! — запричитали, как всегда, ребята.

— А-а-анна Сергеевна, Ансергеевн! Ну почитайте еще!

Но Анна Сергеевна встала и, с улыбкой оглядывая всех, произнесла обычное свое:

— Отца с матерью почитайте.

Повернула фитиль в лампе, дунула и ушла.

В комнате едко запахло жженым фитилем и керосинчиком, и стало слышно, как шепелявил дождь.

Кеша долго не мог уснуть на новом месте, смотрел в далекое теперь окно или, вернее, в сырую и кромешную ночь за окном и, пытаясь отвлечься от мрачных раздумий, старался разглядеть в промозглой тьме хотя бы оконные рамы. Но напрасно. Иногда вдруг ветер ломился в невидимые окна, и хрупкие стекла упруго гудели, а в рамах что-то потрескивало, поскрипывало чуть слышно, и капли, льющиеся с крыши, били по стеклам, как будто кто-то хлестал мокрой тряпкой.

Ребята уснули, и стало слышно глубокое их дыхание, сопение, вздохи и тихие какие-то бредни, какое-то бормотание сквозь сон, чмоканье и легкие всхрипы.

Кеша пытался внушить себе, что переселение к горячей печке не так уж и страшно в конце-то концов, что жить-то, конечно, можно и здесь, и если хорошенько подумать, то просто ему до сих пор везло, а теперь вот нет. Только и всего. Могло ведь случиться и так, что он не стоял бы тогда у дверей, а кто-то не крикнул: «Места

занимай!», и он вообще никогда не имел бы хорошего места. Случай!

Но, понимая все это, он не мог смириться с несправедливостью. И не мог понять, как, когда и почему стал он покорным и робким, не смеющим слова сказать в свою защиту. Как это все случилось? В чем виноват он перед ребятами? И зачем все это? Ведь если бы его по-дружески попросили, он сам перебрался бы к печке, понимая, что он уж и так слишком долго занимал удобное место. Все было бы просто и ясно. И не мучили бы слезы.

А когда он вспоминал о слезах, к горлу его подкатывало рыдание, и он, как маленький Валька, крепился что было сил, но затаенный взрыд прорывался, и Кеша, уткнувшись в подушку, вцепившись в нее зубами, судорожно плакал, словно бы кашлял в подушку, и задыхался от этого болезненного кашля — он давно так не плакал.

И никогда еще в жизни не чувствовал он в себе такой мстительной, злобной силы, которая кипела сейчас в нем, не давая забыться и успокоиться. Все ужасы пыток, какие могли взбрести ему в эту ночь на ум, призывал он к себе на помощь, чтобы замучить хоть мысленно своего врага.

Но корчился сам от мучительного бессилия, потому что чувствовал, как все это глупо было и ничтожно по сравнению с теми муками, которым подверг его Гыра, ибо тот применял к нему пытки куда хитрее и коварнее тех, которые Кеша мог придумать и вообразить даже в лихорадочном состоянии озлобленности. Гыра поступал элементарно просто, бил наверняка. Он унижал его человеческое достоинство. А это, если размышлять отвлеченно, если на минуту позабыть о мальчишках и представить себе отношения людей зрелых, — это самая страшная и мучительная пытка. И самое гнусное преступление, на какое способен человек, живущий среди своих собратьев, потому

что это преступление ненаказуемо законом. Изощреннейшим способом один человек убивает в другом его дух — его высокое достоинство, без которого нет человека, а есть только неживая маска, ибо духовно человек уже мертв. Какие же муки испытывает человек, теряя высшее свое начало! Это ли не преступление? Не страшнее ли оно убийства? Ведь духовно нищий человек опасен для общества, потому что человек этот заразен в своей униженности. Зло — когда человек унижает другого, но не меньшее зло, когда человек позволяет другому унижать себя.

Разве не так? Разве они не стоят друг друга? А кто же тогда преступник? Оселок, о который точится нож, или нож, который становится острее, прикасаясь к оселку?

Но Кеша, который глухо и судорожно плакал, уткнувшись в жаркую подушку, не думал, конечно, об этом. Он знал, что виноват во всем Гыра, и думал в простоте своей, что если не будет вдруг Гыры, то для него опять начнется хорошая, легкая и счастливая жизнь. Он ненавидел Гыру. Это был самый опасный и самый жестокий человек, которого он когда-либо знал. Он еще не был подготовлен жизнью к встрече с таким человеком и теперь страдал, думая, что во всех его бедах и горестях виноват только этот хитрый и мстительный Гыра, которому было тринадцать и который подчинил себе всех в интернате, а с такими, как Кеша, с теми, которые пробовали сопротивляться ему, боролся, как ловкий и опытный интриган, и усмирял, используя для этого всевозможные средства, подсказанные инстинктом самоутверждения.

Можно считать, что после этого вечера Кеша был совсем парализован. Его попытка к сопротивлению была наказана.

А Гыра, который тоже, конечно, не пытался ничего анализировать, который вообще не задумывался над выбором средств борьбы, не учитывал осознанно той или

иной ситуации, в которой он действовал, в общем-то, и не догадывался, не знал и знать не хотел о Кешиных страданиях и спокойно спал. Он с вечера еще выкинул из головы этого Кешу, или Ралису, как он прозвал его случайно, и тот ему был совсем теперь неинтересен.

А Кеше казалось, что в великом множестве вздохов, сопения, тихого храпа, которыми была наполнена душная комната, он отчетливо слышит какое-то сиплое шипение (так порой дышит человек, спящий с открытым ртом). Казалось ему, что он слышит только этот злобный и угрожающий сип... И чудилось ему в отчаянии, что он слышит дыхание Гыры, который на самом деле крепко и мирно спал в своем углу у прохладного окна.

Кеша Казарин, который так и уснул не раздеваясь, вдруг очнулся среди ночи в горячем и липком поту. Подушка, до отвращения теплая и сырая, казалось, душила его.

В комнате все спали, было темно. Кеша тихо разделся, обтерся мокрой майкой и, перевернув подушку, улегся, не накрываясь одеялом.

Что-то уж очень жарко и душно было в комнате в эту ночь. Печь светлела рядом, и от нее струился сухой и обжигающий жар.

Кеша чувствовал, что если он сейчас не сумеет уснуть, то не выдержит этой пытки и, превозмогая лень, поднимется все-таки и в одних трусах выйдет на улицу, на холод и дождь. И это ему представлялось каким-то блаженством, как купание в знойный день. Вот только бы побороть ужасную дремотную лень и слабость.

Он лежал и прислушивался к шуму дождя, и представлял себе, как холодные и колючие дождинки вонзаются в его разгоряченное, потное тело, как весь он зябко и

счастливо ежится и, остуженный, продрогший, бежит опять в теплую комнату, к горячей печи и прячется под одеялом, согреваясь.

«Конечно, можно и простудиться, — думал он, — можно и заболеть, и тогда...» Его перевели бы тогда на время в комнату к врачу Клавдии Васильевне. Представить себе это было жутковато и сладко, потому что там уже лежала Лариса Белякова и еще какая-то девчонка... И все-таки это было бы хорошо.

И, забываясь опять в дремоте, он старался представить себе, как удивилась бы и испугалась Лариса, увидев его рядом с собой, на соседнем топчане. А он бы лежал на спине и весь день и всю ночь прислушивался, как тихо дышит Лариса... А потом ему было бы все хуже и хуже: у него началось воспаление легких, а она бы выздоровела, и ей уже разрешили вставать с постели. И она бы тогда, конечно... что бы она? Ей стало бы жалко смотреть, как он умирает, и она страдала бы и мучилась. Или нет! Он долго бы, долго болел, и она тоже, а девчонка выздоровела. Они бы остались вдвоем, и он однажды сказал бы ей: «Помнишь, как ты говорила мне, что мы с тобой поженимся? Значит, ты все наврала мне?» А она бы сказала: «Нет, Кеша, я притворяюсь. Я все помню и очень тебя люблю, все время думаю о тебе, а для всех других притворяюсь...»

Позднее утро в Незнанове было по-зимнему ясным и холодным, и ранний снежок, который перемежался ночью с дождем, жидко и робко белел в зеленой еще траве, но лужи замерзнуть не успели, как не успел растаять и этот первый хилый и мокрый снег. В природе происходила борьба тепла и холода. Солнце, которое вдруг ярко выкатывалось из-за темных облаков, пригревало землю, но тот необратимый холод, который пронизывал воздух, землю и

лужи на земле, казалось, уже не даст растаять снегу, облепившему траву.

Воздух был чист, а упругий, холодный ветер словно бы заливал всю округу каким-то снежным, весенним половодьем, наполняя все свежестью и небывалой еще в этих краях снеговой прохладой.

Дорога была вся мокрая и слякотная. И вся земля блестела под солнцем своей остывшей, осенней, недвижимой мокрядью.

Кеша Казарин сидел на ступеньке отсыревшего крыльца и, когда солнце задерживалось в ясном небе над землей, принюхивался к бражному запаху испарины, исходившей от сырых деревянных ступенек. Солнце согревало его, а запах согретого влажного дерева тревожил, как будто он впервые в своей жизни обрел такое острое и чувствительное, ничем не заглушенное обоняние. Он слышал, как пахнет снег в спутанной зеленой траве, и как пахнет сама эта подмороженная, тоже согреваемая скудным солнышком, мокрая трава, и как пахнут далекие отсюда, но хорошо видные и словно бы осязаемые на расстоянии желтые листья под лиловыми липами, и как пахнет кора голых лип.

Это было странное и необычное состояние, словно он после ночного и легкого полета обрел способность не только ощущать себя невесомым, но и различать запахи, которыми была насыщена в это утро обнаженная перед зимой, мрачнеющая под тучами и вспыхивающая под солнцем, холодная и теплая земля.

Эта небывалая и таинственная обостренность всех чувств и ощущений рождала в Кеше смутную и неясную ему самому потребность быть лично причастным ко всему, что творилось в это утро. Желание быть вместе со всеми, все понимать и обо всем догадываться и знать также, что все люди вокруг видят его и при этом сознают, что он тоже очень нужен в общей суете и спешке, что

никто не забыл про него, все чувствуют его мужественное спокойствие и дивятся его самообладанию в это тревожное утро, когда усталые женщины, не спавшие ночь, сбились с ног, увязывая огромные тюки с вещами, одеялами и подушками. Желание быть вместе с ребятами и не оставаться одному было таким подавляюще сильным, что в душе его сработало вдруг какое-то тормозящее устройство, остепеняющее, охлаждающее его радостный и счастливый порыв, — уехать вместе со всеми хоть на край земли, лишь бы не зимовать в этом унылом и пегом краю.

Прошло всего два часа с тех пор, как его подняли сонного с постели, но он так устал за эти часы, что, обессиленный и выдохшийся, сидел теперь на пригретом крыльце и никак не мог понять, что ему надо делать, кому помогать, кого слушать, хотя с самого утра уже знал, что его, как и некоторых других ребят из старшей группы, тех, что покрепче, назначили ехать с вещами в том первом обозе, который скоро уже соберется и отправится, груженный вещами, на далекую отсюда и совсем незнакомую станцию.

— Под вашу ответственность, ребята, — говорила им Лидия Федоровна. — Вы уже взрослые люди. Все вещи интерната под вашу личную ответственность. Я доверяю вам.

А Гыру не взяли. Он просился, но его не отпустила Анна Сергеевна, потому что ей тоже нужна была помощь, чтобы успеть все подготовить к отъезду ребят и ничего не забыть.

— Не канючь! — прикрикнула на него Анна Сергеевна. — Справятся и без тебя. Разбойников тут на дорогах нет.

Гыра посерел весь от отчаяния, и казалось, что у него пропал всякий интерес к тому, что происходило в это утро. Впрочем, быть может, он так возбужден был еще и потому, что нервная усталость сказалась и на нем. Он не-

привычно загнанно и отрешенно смотрел на все, что творилось в интернате, молчал, облизывал пересыхающие губы и с трудом понимал Анну Сергеевну, ее распоряжения и просьбы.

Деревенский мальчонка в подпоясанном туго ватнике, в старой меховой шапчонке, в сапогах — мягкий весь какой-то на вид и шустрый, как серый воробей, — суетился вокруг воза.

— Поезжайте, поезжайте! — махала рукой Анна Сергеевна. — Догоняйте Валю Зайцева. Не ждите! Там, на станции, вас Лидия Федоровна встречать будет. Поезжай, тебе говорят!

И они поехали. Воз качнуло, и Кеша, ухватившись рукой за веревку, последний раз оглядел школу, школьный двор, на котором бочка с тухлой водой, и серая стая воробьев на голом деревце, как серые листья, и гомонливое их щебетание на солнышке... Подводы, тюки, люди и лошади...

— До свиданья! — кричал Кеша и махал рукой. — До свиданья!

Еще издали Кеша Казарин увидел впереди глубокий овраг, в который падала, пропадая, маслянистая, рыжая дорога, а повозки, казалось, ускоряли движение и словно бы проваливались сквозь землю. На отлогом подъеме с той стороны оврага, изрисованном извилистыми дорогами, видно было, как лошади, вытянув шеи и цепляясь копытами за скользкий грунт, тянули вверх тяжелые возы и пустые телеги и как шли по обочинам, по синей траве маленькие человечки, взбираясь наверх по склону оврага.

Когда Кеша с парнишкой подъехали к спуску, когда уже стерня осталась позади, они увидели две повозки, остановившиеся около спуска: одна была груженная веща-



ми, а другая — с солсменной подстилкой. Тут же возницы стояли, о чем-то споря, и ребята в сторонке.

Подъехали ближе.

— Ей, чего там? — спросил мальчонка у парня, который кнутовищем все вниз показывал и говорил что-то другу своему.

— Чего, чего! Объезжать надо — вот и чего! Разбили дорогу. Разве можно! Вон какая яма.

— Так объезжай... Чего стоять!

Парень вдруг обернулся, обозлился на мальчонку, раскорячился перед ним и заорал:

— Ишь какой смелый! Расступись, народ! Вон поедет сейчас... Гляди!..

Кеша понять ничего не успел, как мальчонка тронул уже лошадь, крикнул на нее в азарте и, объехав по целине повозки, направил лошадь вниз по траве, в овраг, придерживая ее вожжами...

— Дурень! — кричал ему парень вслед. — Куда полез?! Не там объезжать надо! Ей, слышь! Не там... Держи лошадь!

Но было уже поздно. Что-то вдруг хрястнуло внизу, воз с резким тычком завалился на бок, и Кеша, падая, успел выставить вперед руки, но, не почувствовав ни боли, ни страха, быстренько поднялся на ноги...

Мальчонка тоже отделался легко. Он ударился об оглоблю, но поднялся с земли и, вытирая руки о штаны, только морщился от боли, а может быть, не столько от боли, сколько от испуга.

— Что, — спросил Кеша, — с рукой-то?

— А ничего.

Парень с кнутом, за ним друг его и все стоявшие над оврагом мальчишки и девчонки подошли, обступили завалившийся воз со сползшими тюками и стали соображать, что же это такое случилось и почему воз завалился.

— Чего тут, — сказал парень с кнутом. — Ось обло-

мил. — И ткнул кнутовищем в подмятое переднее колесо телеги. — Ну куда ты полез? — спросил он с сочувствием. — Говорили тебе, а ты полез. Гордый какой! Ну? Чего теперь делать станешь?

Другой возница в плаще до пят, который молчал до сих пор, повернулся и сказал уходя:

— Все верно говоришь. Поехали, Федя. Дело не ждет. Помощи от нас тут все равно никакой. Ему чего теперь? Ему лошадь теперь распрягать. Сам-то откуда? — спросил он, обернувшись.

— Из Незнанова.

— Незнановский. Так. У вас там все такие, как ты, или умные есть?

Оба засмеялись невесело и ушли наверх к своим подводам. За ними потянулись и ребята.

— А вы куда? — крикнул на них парень с кнутом. — Идите, идите на ту сторону, там подождем.

Ребята напуганной стайкой остановились и, подумав, повернули безропотно назад.

Мальчонка супился и молчал, с тоской поглядывая на колесо. Румянец его словно бы припудрился какой-то бледностью, и глаза потускнели.

Вскоре уехали и эти двое, благополучно миновав злосчастный овраг, который весь был, как дымом, затянут синей, сумеречной травой, сизыми кустами на желтых подстилках и изрезан был не одной, а уже тремя сплетающимися, рваными и извилистыми дорогами.

И потянулось время. Его отсчитывали проезжавшие мимо повозки с детьми и с вещами, а потом томительное ожидание... Здесь, в овраге, чудилось, будто уже сумерки наступили, хотя был еще полдень. И в те минуты, когда пустела дорога, и все стихало вокруг, и когда казалось, что надвигались вечерние сумерки, хотелось уйти

за любой подводой, которая первой покажется из-за бугра, плюнув на вещи и на мальчонку, который скуксился совсем и так переживал случившееся, что однажды даже заплакал и запищал сквозь слезы тонко, словно мышь в поле: не сумел сдержаться, когда мимо проехал, видимо, хороший его знакомый, которого звали Иваном и который из Незнанова тоже был, потому что на тюках сидел Колька Каратаев из интерната, белесый парнишка с акульими бесцветными губами.

— Постой, Ваня! — пронзительным голосом кричал мальчонка. — Ну слышь ты, постой! Чего делать-то? Ось у меня подломилась... Ваня! — И бежал рядом с возом и лошадью. Бежал с надеждой в глазах и верой.

А Иван, не останавливаясь, отвечал ему:

— А игде же я тебе ось возьму?..

— Так чего делать мне, Вань?

— А я почем знаю.

Кеша тоже бежал рядом с возом, спрашивал у Кольки:

— Слушай, а когда Анна Сергеевна поедет, не знаешь?

— А что тут у вас? — спрашивал Колька.

— Ось поломалась.

Колька брезгливо отмахнулся рукой и сказал:

— Все не как у людей. Ну и сиди тут, Ралиса...

«Да, конечно, — думал Кеша, отставая от воза, — он теперь может так говорить. Теперь уж, конечно, все будут смеяться. Эх-ха-ха. Лучше уж сидеть и не спрашивать никого. Пусть проезжают».

— Да пусть их едут! — со злобой сказал Кеша.

Вот тут-то он и услышал комариный писк, вот тут-то мальчонка и заплакал от жгучей обиды, да так горько, что Кеша тоже всхлипнул.

— Ладно тебе, — говорил Кеша. — Да не обращай ты внимания. Тебя как зовут-то?

— Сережкой, — отвечал мальчонка, которому лет, наверное, двенадцать тоже было, не больше, а теперь, ког-

да он плакал, и вовсе можно было его за ребенка посчитать.

— Хватит тебе, — утешал Кеша, подталкивая Сережку в плечо. — Слышишь, хватит. Обидно, конечно. Я понимаю... Я знаешь, как хорошо это понимаю! Если б ты знал...

А Сережка утер слезы и, всхлипывая, опять спросил с отчаянием:

— И чего теперь делать...

— А без нее никак нельзя? — спросил Кеша.

— Без оси нельзя.

Время опять отмерило свой шаг, опять показались подводы из-за бугра. Отсюда не видна была дорога в поле. Всякий раз из-за бугра неожиданно и неслышно вырастала темная лошадь, а за ней телега, за телегой другая лошадь и другая телега, и опять лошадь, и только когда подводы начинали спускаться по склону, слышали Кеша с Сережкой шум телег, дыхание потных лошадей, разговоры людские.

«Опять не наши», — подумал Кеша и сказал Сережке:

— Не наши.

На них внимательно и сочувственно смотрели проходившие незнакомые девчонки и, понимая, что помочь они не могут, уходили, сутулясь, вниз, и Кеша провожал взглядом их спины, скользящие ноги.

Он никак не мог избавиться от ощущения, что день уже окончился, и наступали сумерки, и все давным-давно уже проехали мимо, и некого больше ждать.

— Сереж, — наконец решился он, — что будем делать?

— Не знаю...

— Все мимо, мимо... А наших все нет.

— Все идут, — задумчиво отвечал Сережка. — Идут и идут. Уж и не знаю.

— Починить-то можно эту ось?

— Починить можно, да только ось нужна новая.
— А где взять?
— В деревне, где ж еще...
— А съездить нельзя?
— Все можно.
— Так поезжай, а я подожду пока.
Сережка встрепенулся и спросил с надеждой:
— Отпускаешь?
— Ну раз надо...
— Это ты верно говоришь! Поеду я, а? Отпускаешь меня, да? Ну и верно. Потому что иначе чего ж... А я сейчас мигом... Распрягу и мигом до села, а там и обратно. Это дело! Мигом я...

Он оживился опять, заторопился, подскочил к лошади воробьем, стал распрягать ее, и у него это хоть и не быстро, но ловко получилось. Он вывел лошадь из оглоблей, взяв ее под уздцы. На лошади хомут распущенный остался, вся сбруя и еще вдобавок на холке дуга: все это Сережка забирал с собой, хотя делать это, как показалось Кеше, было не обязательно. Съест он, что ли, тут эту дугу?!

— А что ты все с собой берешь?.. Налегке бы и ехал.
— Так-то оно так... Да ведь можно тогда и... эту... телегу... А? Верно! Тогда телегу впрягу другую и приеду.

На том и порешили они. Сережка попросил подсадить его, а сам набросился, подпрыгнув, на лошадь и повис сбоку. Кеша ухватился за его грязный сапог, и Сережка взобрался, смотал длинные вожжи, приладив их перед собой, и, елозя сапогами по лошадиным бокам, чмокая губами, тронул ее в обратный путь.

— Ну вот и дело! — оживленно и радостно говорил он. — Я это мигом...

— Ты только приезжай, — попросил Кеша. — Обязательно приезжай, а то...

— Как же! Что ты... Вот только ось достану и вернусь. Как же!

Но, когда лошадь скрылась за бугром, Кеша пожалел, что отпустил этого Сережку.

«Не вернется! — думал он с испугом. — Тогда как же? Что людям-то говорить? Довез до оврага и вывалил вещи. Эх-ха-ха! Не вернется он теперь. А мне-то как же? Ведь не вернется».

Кеша не ошибся: Сережка и в самом деле не вернулся.

Короткий осенний день начал меркнуть, и уже настоящие сумерки расползлись по оврагу. Дорога опустела, и редко-редко по ней проезжала какая-нибудь припозднившаяся подвода.

Мимо Кеши Казарина уже проехали, как он считал, все ребята из Незнанова, и каждый раз, проезжая или проходя мимо, они, как на чужого, смотрели на него и словно бы не узнавали, словно бы впервые видели и старались уйти поскорее. Это было страшно и непонятно, как будто он один был во всем виноват, а они тут ни при чем.

Воспитатели, которые тоже проезжали мимо него и к которым бежал с надеждой Кеша, кричали ему строго и раздраженно, чтоб он ни в коем случае не отходил от вещей...

— Стой здесь! Никуда не отходи! — наказывали они всякий раз Кеше. — За тобой обязательно приедут. Стой и никуда не уходи!

И Кеша, которому сначала все это казалось правильным и который все еще Сережку надеялся дождаться, в конце концов отчаялся совсем, особенно после того, как мимо проехала Анна Сергеевна с ребятами, которые шли за телегами, усталые и равнодушные ко всему на свете.

— Анна Сергеевна! — кричал Кеша. — Что мне делать-то? Сережка этот за осью уехал, а я тут один...

— Какой Сережка? — спрашивала Анна Сергеевна.

— Да мальчишка этот из Незнанова. У нас ось поломалась. Ну вот! Мне-то с вами идти или нет?

— Стой здесь! Ты мне головой за вещи отвечаешь. Соловьев! — крикнула она Гыре, который в своих грязных и промокших, наверное, ботинках шел по обочине.

— Ну чего? — отозвался тот.

— Оставайся здесь. Ждите нас. Мы приедем на станцию и вернемся. Слышишь... Оставайся с Казариным. Одному ему страшно небось будет.

Но Гыра как будто не слышал ничего и продолжал упрямо идти, как та лошадь, которую Кеша не мог остановить...

— Соловьев! — кричала Анна Сергеевна. — Я тебе что сказала!

И тут вдруг неожиданно для всех Гыра, который всегда и во всем был послушен Анне Сергеевне, с какой-то истерической визгливостью закричал:

— Да пускай он хоть сдохнет здесь! Не останусь! Сам поехал, пусть сам и сидит здесь. Потопал бы с наше...

— Соловьев! — кричала Анна Сергеевна. — Я тебе приказываю остаться!

— Не останусь!

И Анна Сергеевна, выведенная из себя, вдруг разразилась такой бранью, которую она никогда себе еще не позволяла, но теперь не сдержалась и выпалила, бледнея и задыхаясь от злости.

Гыра тоже, уходя все дальше и дальше от телеги с тюками, закричал на нее:

— Не имеете права! Вы не имеете права! — и стал размазывать по лицу слезы, продолжая упрямо и напряженно идти за подводами.

Кеша остановился и, махнув рукой, сказал:



— Ладно, я один здесь... Ладно, Анна Сергеевна. Не надо...

Анна Сергеевна, бледная и какая-то изуродованная вся своей несдержанностью, остановилась и жалко, упавшим голосом сказала:

— Хорошо, Кеша. Никуда не уходи. Если даже стемнеет, никуда не уходи. За тобой обязательно приедут. Еще сзади наши едут. Они возьмут тебя. А этот... пусть идет.

Гыра вдруг опять сквозь слезы завопил хриплым каким-то визгом:

— А вы не имеете...

— Замолчи, — сказала ему Анна Сергеевна тихо, но с такой угрозой в голосе, с таким мраком, что Гыра осекся и, рыдая, понуро пошел дальше.

И Кеша подумал, что, если бы Гыра не замолчал, если бы опять кричать начал, она бы ударила его.

И когда он начинал опять и опять возвращаться к этому недоуменному вопросу «Как же так?», он представлял себе с каким-то смирением и тихой покорностью судьбе, как все люди, которых он знал и которые теперь забыли о нем, сидят уже в вагонах, а паровоз уже прицеплен к составу, стоит под парами и шипит, ожидая минуты отправления. А люди в вагонах укладываются спать, съев перед сном что-то горячее и вкусное, может быть, сладкую манную кашу с куском растаявшего масла, или выпив кружку горячего чая с хлебом. А потом паровоз загудит и тронется. Вагоны вздрогнут все разом, и колеса их медленно начнут поворачиваться: сделают один оборот, второй, третий и начнут крутиться все быстрее и быстрее...

И тогда вдруг кто-то вспомнит о нем.

Но тут воображение ему отказывало, и он, уже не в силах выносить обиду и отчаяние свое, всхлипывал и смаргивал теплые слезы. Зябкая дрожь начинала бить

его тело, словно бы со слезами вытекало из него последнее тепло.

Однажды он до того измучился в своих мыслях и в своем до жути страшном одиночестве, что поднялся с тюка и, плача, пошел вниз по дороге, как недавно шел Гыра. Но, когда он только еще поднимался с помятого тюка, решив бросить вещи и уйти по дороге на станцию, он уже чувствовал каким-то странным и непонятным образом, что далеко все равно не уйдет, словно он был привязан к этим дурацким вещам, о которых, как он думал, все давно уже позабыли. И он, плача навзрыд, вернулся к ним и опять уселся на продавленный тюк. Он и не догадывался, и даже подумать не мог в эти минуты отчаяния, что впервые в жизни испытывает жестокое в своей определенности и твердости чувство долга. В эти минуты он знал, что вещи нельзя оставить посреди дороги, потому что вещи эти были общими. А раз общие — их нельзя оставить, даже если поезд уйдет без него. Кеша и не предполагал, конечно, что все эти часы и минуты он находился во власти самого мудрого и благородного чувства, способного разбудить в человеке такие силы и такую красоту души, о которых человек порой и не догадывается.

А земля уже утратила свои краски, и дорога померкла, стала расплываться в общей сизости, и уже кусты перестали шевелиться и пропали совсем, и только кое-где светлели еще листья, опавшие с этих кустов. Но теперь по этим листьям никто уже не ходил — все было тихо, словно бы все замерзло... И облака, текущие над бугром, помрачнели и налились сумеречной тяжестью и влагой, приблизились к земле, придавили бугор и как будто бы остановились над оврагом на ночлег.

Зато груда тюков дыбилась теперь в густых сумерках белым изваянием, каким-то выходом каменной породы.

Кеша с ногами забрался на тюк и, дрожа всем телом, не в силах уже унять этой дрожи, снова вдруг услышал чьи-то шаги: шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом. И голос услышал приглушенный и бубнящий, как в бочке... Какое-то фырканье вдруг... И шаг за шагом.

Он подобрался весь, поджал ноги и слышал, как сердце у него бухало где-то в горле. И услышал вдруг с не меньшим испугом и ужасом постукивание и хруст катящихся колес телеги. Увидел там, где недавно была дорога, какую-то тень, скользящую в овраг.

Он испугался на этот раз, заметив подводу, ибо понимал, что, если опять она проедет мимо и не заберет его отсюда, ему будет так трудно и так плохо, что он и представить себе боялся. Он даже не решался выйти навстречу этой подводе, чтобы не обмануться в последней своей надежде. Он слышал женские голоса, он слышал их совсем уже близко и в оцепенении ждал, что проезжающие сами увидят белую груду и подойдут узнать, в чем дело. Но телега катилась, постукивая и похрустывая, и женские голоса все так же спокойно бубнили и бубнили в потемках.

Он спрыгнул с тюков и, все еще видя тень на дороге, с усилием выдавил из себя не крик даже, а сиплое, взлаивающее восклицание:

— Эхей!..

Голоса умолкли, и лошадь стала.

Кеша, зайдясь в предательной, лихорадочной дрожи, опять вытолкнул из себя полукрик-полусипение, рыдающее какое-то покашливание. Собравшись с силами и мужеством, спросил ломким голосом:

— Вы не из Нез... Незнанова? А?

Не узнавая себя, он опять откашлялся и пошел, точно на ходулях, к темнеющей телеге, от которой сильно пахло лошадью.

— Это кто же тут? — услышал он тревожный, но удивительно знакомый голос.

У Кеши не хватало дыхания, и он никак не мог набрать в легкие воздуха и что-то сказать в ответ, потому что его бил озноб и он боялся перепугать очень знакомую женщину, которая подходила к нему. Он изо всех сил крепился, сдерживая дрожь.

— Я... это! — сказал он, наконец узнав в женщине врача из интерната. — Казарин.

— Боже мой! — воскликнула та в испуге. — Что с тобой? Почему ты здесь?

— С вещами... — отвечал Кеша. — Чего-то я замерз...

И он жалобно улыбнулся, понимая, что Клавдия Васильевна ужасно перепугалась за него.

— Стоп-стоп-стоп! — сказала она. — Какие вещи? Ты ехал с вещами? Но это же утром было! И до сих пор?! Почему?

— Ось у нас сломалась...

В телеге кто-то заворочался, и оттуда донесся писклявый, хриплый голосок:

— Кто там, Клавдия Васильевна?

— Подождите, девочки! Тут мальчик наш Не вставайте! Так ты говоришь, с вещами? А где же они?

Кеша оглянулся и сам уже только смутно увидел в потемках серую глыбу, совсем не похожую на груду мягких тюков.

— Там. У телеги ось сломалась, мы упали, а потом ничего... Потом Сережка удрал на лошади... Это который... ну этот... А я сторожил вещи.

— Так, так, так. Понятно, — говорила Клавдия Васильева в озабоченности. — Прости, я забыла твое имя.

— Я Кеша Казарин... А Анна Сергеевна сказала, что приедет... Я ждал все время... что за мной приедут и возьмут...

— Все верно... Стоп-стоп! Они знали, что я еду последней... Все верно. Но что же нам с тобой делать? — сказала она в какой-то невозможно тоскливой и пугающей задумчивости. — Что же делать?! У меня больные девочки. А у тебя целый воз вещей. Что же делать? Ну, хорошо! Вот что, Кеша...

И случилось то, чего он больше всего боялся в эти минуты: он услышал, как Клавдия Васильевна, водя указательным пальцем у него перед глазами, говорила ему, чтобы он подождал еще немного здесь, у вещей, а она доедет до ближайшей деревни, оставит девочек в какой-нибудь избе, а сама вернется за ним, а деревня, говорила она, совсем недалеко отсюда, и даже видны огоньки.

— А ты уж, дружочек, потерпи немного, побегай, согрейся, не сиди на месте, побегай, — повторяла она. — Я скоро приеду.

Кеша слушал ее и не верил. Он знал, что она не вернется за ним. На всякий случай спросил:

— А вдруг поезд уже уйдет?

— Нет, дружочек! Он без нас не уйдет. В интернате еще тетя Глаша осталась, и повариха, и воспитательница из младшей группы, и сестра тетя Варя. Что ты? Они еще завтра только поедут.

Кеша успокоился немножко, почувствовав освобождение от назойливой и пугающей мысли, которая не давала ему тут, в овраге, покоя, и улыбнулся даже.

— Ладно, — сказал он. — Я подожду вас... Только...

— Ты мне не веришь, может быть, да? — перебила его Клавдия Васильевна. — Так вот запомни: Клавдия Васильевна не умеет врать, и если она сказала, что скоро приедет, значит, так оно и будет. Мы все вместе переночуем в деревне, а утром поедем дальше.

В телеге опять что-то скрипнуло, и оттуда донесся тот же сиплый и писклявый голосок:

— Клавдия Васильевна, а кто там?

— Девочки, это Кеша Казарин. Знаете такого? Вот знайте теперь! — И она потрепала Кешу по щеке. — Это наш герой!

Рука у нее была холодная и сухая, как у всех врачей на свете, но это была удивительно ласковая рука.

Кеша вдруг подумал, что в телеге, наверное, те самые девчонки, которые ангиной болели, а значит, там, на соломенной подстилке, лежит, конечно, и Лариса Белякова, потому что она ведь тоже болела... Он только теперь припомнил, что не видел ее сегодня среди проезжавших и проходивших мимо детей.

— Ты бегай здесь, бегай! — говорила Клавдия Васильевна. — И махай руками, чтобы не замерзнуть. Прыгай и бегай.

И Кеша стал бегать. Он добежал до вещей и с налета бросился на мягкий полосатый тюк, а потом опять побежал прочь, и снова вернулся, и, остановившись, слушал, как замирали звуки уехавшей подводы.

На этот раз он поверил, что за ним приедут. И что будет впереди удивительный и неправдоподобный вечер, а потом ночь, а потом утро...

Кеша подпрыгивал и махал руками, как ему велела Клавдия Васильевна, и ему даже странным казалось, что он до сих пор не догадывался этого делать.

Он прыгал словно бы во сне. И все теперь было как будто во сне: потемки, телега с соломенной подстилкой и писклявый голосок, и сам он, прыгающий тут, на склоне темного, но совсем не страшного, обыкновенного оврага, прыгающий и взмахивающий руками, летающий наяву и ликующий...

Председатель колхоза, полувоенный человек в гимнастерке, подпоясанный широким командирским ремнем, и усатый, как Чапаев, был очень как будто бы рад тому

обстоятельству, что Клавдия Васильевна с детьми вынуждена была заночевать в селе.

Кирпичная изба, крытая соломой, казалась битком набитой людьми, и в этой тесной и тускло освещенной, жаркой избе были счастливы все: и хозяева и гости.

К тому времени, когда наконец появился Кеша и привезли вещи, оставив их на телеге во дворе, стол уже был накрыт и в черном чугуне, наполняя комнату душистым паром, светлела рассыпчатая, искристая, как топленое масло, горячая картошка. И настоящее русское масло стояло в глиняном горшке, и соленые лакированные огурцы с веточками укропа грудились в миске, а посреди стола кусок холодного мяса с застывшим, стеариновым жиром. И тарелки уже стояли для всех.

А когда все сели за стол, хозяйка, немолодая уже женщина с текучими, смеющимися и очень добрыми глазами, толстая и разомлевшая, достала из настенного шкафчика графинчик с водкой и три маленьких граненых стаканчика.

Председатель колхоза, как дирижер, поднял руки и брови, и даже как будто усы у него поднялись от приятного удивления, и, замерев в такой странной, и, как, видимо, ему казалось, деликатной позе, молчал, пока хозяйка разливала теплую водку по стаканчикам.

Молчала и Клавдия Васильевна, а когда хозяйка поставила графинчик на стол, сказала без всякого жеманства:

— Спасибо. Я с удовольствием сейчас выпью за ваше здоровье.

Председатель обрадовался и сказал прочувствованно:

— Вот это правильно. Это по-нашему! От всего сердца. Время суровое, военное, вроде бы и не до веселья, но вот смотрю я на вас и просто радоваться хочется — какая вы молодчина! Красивая, образованная...

— Стоп-стоп-стоп! — отвечала на это Клавдия Ва-

сильевна. — Не надо так. Давайте лучше просто выпьем за нашу победу.

— За победу! — сказал председатель и выпил залпом.

И Клавдия Васильевна тоже выпила и стала после этого не торопясь есть эту необыкновенную картошку с холодным огурцом.

Кеша сидел за столом напротив Ларисы Беляковой и, испытывая голод, чувствуя себя совершенно раздавленным этим звериным ощущением, никак не мог съесть свою порцию картошки, кусок мяса и огурец — удивительно вкусные, но ничтожно малые по сравнению с тем, что он мог бы съесть мысленно. Он переставал вдруг есть, боясь поднять глаза от тарелки, с трудом проглатывал неразжеванное мясо, осторожно набирал в ложку картофель, стараясь не уронить какую-нибудь крошку на клеенку... Жрать чертовски хотелось, но оттого, что он сидел за столом напротив Ларисы, ему никак не удавалось почувствовать, что он ест и насыщается, и вообще не удавалось ему просто есть, как будто он разучился держать ложку, засовывать ее в рот, прожевывать то, что было в ложке и попадало в рот, и глотать. Все это теперь казалось ему слишком грубой и очень неприглядной, тяжкой работой, с которой прекрасно умел когда-то справляться, но теперь вот вдруг разучился совсем.

Он чуть ли не плакал от своего дурацкого оцепенения, из которого его в конце концов вывела сама Лариса. Она вдруг спросила:

— Очень устал, да?

— Нет, — ответил Кеша. — Просто чего-то...

— Замерз, да?

— Нет...

— А чего ты зубами стучал, как волк? — спросила Лариса и засмеялась с бухающим кашлем. — Пугал нас?

Щеки ее, словно бы припухшие от болезненного ру-

мянца, лоснились от тепла и сытости, и губы горели ягодной, неестественной краснотой, а затуманенные болезнью и температурой глаза были очень грустные, хотя она и смеялась.

Кеша никогда еще не видел ее такой красивой и, как это ни странно, такой взрослой и всепонимающей, как будто она была намного старше его.

Он улыбнулся на этого «волка» и сказал:

— Конечно, замерз.

Вторая девочка, у которой был сильный насморк, сказала угрюмо:

— Дичего сбещдого...

У нее был совершенно заложен нос, и она «быдыкала» очень смешно. Кеша с Ларисой опять засмеялись.

— Я так жрать хотел, — признался Кеша, — а теперь чего-то уже не хочу.

И опять смеялась Лариса, а Кеша понимал этот нервный и ломкий, хрипловатый смех как какое-то таинственное приглашение к дружбе, к разговору, потому что он вдруг с удивлением и застенчивостью начинал понимать или, вернее, начинал чувствовать прикосновение некоторых ее взглядов, которые она бросила на него и которые оставались как бы сами по себе существовать в этой желтой от керосинового света, жаркой комнате.

И когда он услышал, как Клавдия Васильевна стала говорить с хозяйкой о ночлеге, о том, кого куда положить на ночь, он удивленно воскликнул:

— А мне совсем что-то не хочется спать!

И Лариса Белякова, словно бы они договорились с ней, сказала следом за ним:

— И мне тоже!

Он-то догадывался теперь, что ей тоже понравилось смотреть на него и она тоже хочет еще посидеть в этой комнате, чтобы никто, кроме Кеши Казарина, не обращал на нее внимания, чтобы все были заняты своими

важными и очень серьезными разговорами о войне, о фронте, о Москве.

О них опять вскоре позабыли совсем, и Лариса, облизывая то и дело пересыхающие свои вишневые губы, с такой же тонкой и блестящей, как у вишни, кожицей, спросила:

— А вдруг бы мы проехали мимо? Тогда что? Вдруг бы ты не услышал? Ты бы так и сидел сейчас там? Да?

Кеша хотел ответить на этот вопрос по-мужски, хотел сказать, что он бы не ушел, конечно, с этого поста, но он доверчиво посмотрел на Ларису и ответил:

— Не знаю... Наверное, сидел бы.

— Ой, как страшно, да? В овраге...

На этот раз искренность изменила Кеше, и он усмехнулся.

— А чего страшного-то? Подумаешь! — сказал он самодовольно. — Это когда темнеть стало, вот было страшновато...

— Почему? — шепотом спросила Лариса.

— Почему? Потому что... — Он наклонился к ней через стол и тоже тихо сказал: — Потому что там кто-то в кустах ходил... Там такие кустики и опавшие листья... По листьям кто-то шурк, шурк...

— А кто?

— А я откуда знаю...

— Может, тебе показалось?

— Что ж, я глухой, что ль...

У Ларисы было испуганное и очень серьезное выражение лица, а Кеша и сам, когда рассказывал об этом, стал вдруг побаиваться черных, поблескивающих отражениями оконных стекол, словно бы он мог столкнуться взглядом с таким существом, которого не было никогда на свете и которого никто никогда не видел: боялся возможного своего испуга.

— Вообще-то, может, мне и показалось, — сказал он с улыбкой. — Было тихо, и, может, это листики последние падали, и слышно было, как они падали...

— Наверно, — радостно отозвалась Лариса и с благодарностью посмотрела ему прямо в глаза, а потом опустила маслянистые от болезни, набрякшие усталостью веки и еще раз мельком взглянула, чувствуя теперь на себе его взгляд.

А у Кеши сердце колотилось непривычно, и не хватало дыхания, когда он смотрел ей в глаза, не отводя своих глаз.

Это было необычайно жутко, смотреть ей в глаза и видеть, как она опускает их покорно. Жутко это — смотреть в глаза девочки, словно бы ты и не человек, а какой-то дикий звереныш, которому впервые в жизни пришлось встретиться глазами с человеком, царем всех зверей. Кеша даже усталость какую-то почувствовал вдруг, какую-то опустошенность, словно все свои силы отдал на то, чтобы не отвести глаз от этих других, удивительно прекрасных и пугающих своей глубиной глаз девочки. И он больше не решался смотреть на нее, был смущен, будто бы совершил что-то недозволенное, что-то запретное, нарушил какую-то страшную и недоступную еще тайну.

Лариса тоже, видимо, была поглощена новым и первым в жизни ощущением покорности и тоже теперь боялась смотреть на Кешу...

На станции было ветрено и шумно в это утро. За бурыми вагонами взвивались вверх и рассеивались на ветру черно-белые дымы, а ветер разносил какой-то звонкий звук, как будто с этим мелодичным звуком рассыпались в голубом воздухе черные дымы и белые. Головастые галки тоже звонко и отрывисто вскрикивали, перелетая то

и дело в переполохе, и, чумазые, как кочегары, важно расхаживали по черной, прокопченной земле.

Эшелон простоял еще целые сутки, прежде чем прицепили к нему паровоз, но, когда Клавдия Васильевна и дети с ней лихо подкатили на черной председательской бричке к станции, они тоже заторопились, как и все тут на станции, словно бы до отправления оставались минуты.

Перед ними были еще какие-то плавно изогнутые, блестящие рельсы, и они прыгали через них. А навстречу им по упруго изогнутому, стремительному рельсу, балансируя руками, шел Валька Юсупов и улыбался.

— Здрасьте, — сказал он всем, глядя лишь на Кешу Казарина. — Приехали? Куда торопитесь-то? А где Анна Сергеевна?

— Как это где? — удивленно спросила Клавдия Васильевна.

— А она вчера уехала... вон за ним, — ответил Юсупов, кивнув в сторону Кеши. — А мы тут печку в вагоне топили. Ребята гуляют, а я дежурный.

— Когда же она уехала?

— Не знаю... Уже темно было, — отвечал Юсупов, оступаясь с рельса и снова вставая на него. — А тут немецкие паровозы стоят раскокошенные... А военных эшелонов с пушками полно было!

Это неожиданное известие об Аннушке обескуражило Клавдию Васильевну, и она даже ссутулилась, осела сразу. Получалось так, что, подобрав по дороге Кешу, она невольно поставила Аннушку в затруднительное положение, заставив ее понапрасну тревожиться.

Но к полудню все образовалось, и люди, очень волнуясь за Анну Сергеевну, вздохнули облегченно, когда наконец-то приехали медсестра Варя с Глашей и повариха, которая привезла с собой целый воз кухонной утва-

ри и чугунные котлы. С ними вернулась и Анна Сергеевна.

Нет, она не догадалась заехать в деревню, а, увидев, что Кеши в овраге нет и вещей тоже нет, решила, что его подобрали порожние подводы, едущие со станции в Незнаново... Но в интернате его тоже не оказалось, и ночь была очень тревожной... Все они спали «вполглаза», как сказала Варя.

Они ехали двенадцать суток, отпраздновав Седьмое ноября в пути... Все эти двенадцать суток ребят кормили сладкой манной кашей и поили горячей водой, а когда они приехали в зиму и в морозы, в вагонах стало так холодно, что никакая печка и никакой уголек не помогали, и даже хлеб промерзал насквозь, а дощатые стенки вагона индевели и покрывались белыми хлопьями инея.

Наконец они приехали на станцию Чернушка. Была середина ноября, но стоял лютый мороз. И опять они целые сутки ждали, пока не стали за ними съезжаться из окрестных деревень санные подводы.

Детей из младшей группы клали в сани, на сенную подстилку, и накрывали сверху одеялами, а ребят из старшей разделили на тех, у кого были валенки и теплая одежда, и тех, у кого ничего этого не было.

Гыра, который в дороге не проявлял никаких признаков жизни и все время, казалось, спал на дощатой полке, вжимаясь в тела ребят, оказался среди тех, у кого не было зимней одежды. И его, как маленького, тоже уложили в сани и накрыли одеялом.

Ребята посмеивались над ним, а он лежал, нахлобучив шапку на самые глаза, и смотрел в небо. Кеше даже почудилось однажды, что Гыра плакал, хотя, впрочем, краешек одеяла и шапка — все покрылось инеем, и трудно было понять, плакал ли он в самом деле или это только показалось Кеше.

Грузились на сани долго и не скоро еще отправились

в путь. Кеша подошел к розвальням, где лежал Гыра, и впервые за многие месяцы сказал ему:

— Хочешь, Женька, я отдам тебе ботики? У меня еще ботики есть.

— Да пошел ты! — крикнул ему Гыра с обидой.

— Ну что ты орешь, — примирительно сказал Кеша. — Наденешь их на ботинки — теплее будет. Слышишь?

Гыра молчал.

— Зря ты злишься, — сказал Кеша. — Возьмешь или нет?

— Ладно, — ответил Гыра сумрачно и тихо. — Потом, когда приедем... Они у тебя в вещах?

— В вещах.

Гыра лежал и хлюпал озябшим носом, потирая его варежкой.

— Морозище, — сказал он в отчаянии. — Кешка! — позвал он вдруг незнакомым каким-то голосом.

Кеша даже не понял сначала, что это его Гыра окликнул, назвав по имени, хотя в дороге все ребята уже называли его так.

— Что? — спросил он.

— Спасибо тебе...

— Да чего спасибо! У меня валенки, — ответил Кеша.

— Ты не обижайся на меня, — говорил Гыра, — что я с тобой тогда не остался...

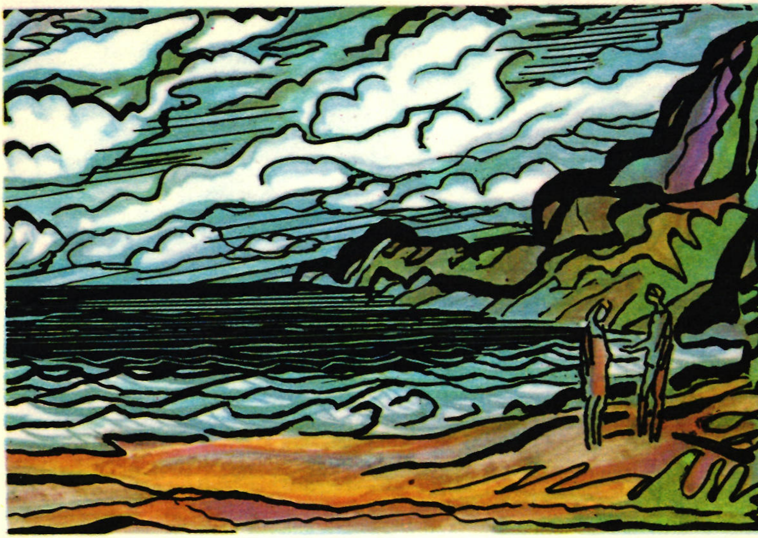
— Ладно. Только, когда приедем, я тебе шелобан отвешу... За все.

И Гыра, усмехнувшись, согласился. У него теперь не было другого выхода, потому что в дороге никто из ребят с ним не разговаривал, и он понимал, конечно, что если Кеша Казарин даст ему один шелобан, то это будет смешно. Он притворится, что ему очень больно, будет тереть лоб и морщиться, а если ребята будут смеяться, то скажет: «Ничего себе бьет Ралиса! Откуда только силы!»

Он обязательно так и скажет: «Ралиса». Неизвестно еще, что подумают ребята. Может, они подумают, что ничего не случилось и все опять по-старому: нет никакого Кеши Казарина, а есть Ралиса и есть он, Гыра, который даже позволил Ралисе ради забавы дать ему шелобан. И еще он подумал, что Кеша, предлагая ему свои ботики, хочет, конечно, подлизаться к нему.

«Ладно, — решил он. — Еще посмотрим. Ботики я возьму. Может, ребята тоже подумают, что Ралиса подлизывается...»

Но, думая так, Гыра на этот раз жестоко ошибался. Он даже и представить не мог, что, отказавшись остаться с Кешей там, в овраге, совершил такую ошибку, которую не прощают. И никакой шелобан теперь уже не спасет его от позора. Слишком низко пал он в глазах ребят, для которых начиналась совсем новая жизнь в этом морозном холмистом крае.



ЭХО



Синегория, берег, пустынный в послеполуденный час, девчонка, возникшая из моря... Этому без малого тридцать лет!

Я искал камешки на диком пляже. Накануне штормило; волны, шипя, переползали пляж до белых стен приморского санатория. Сейчас море стихло, ушло в свои пределы, обнажив широкую шоколадную, с синим отливом полоску песка, отделенную от берега валиком гальки. Этот песок, влажный и такой твердый, что на нем не отпечатывался след, был усеян сахарными голышами, зелено-голубыми камнями, гладкими, округлыми стек-

ляшками, похожими на обсосанные леденцы, мертвыми крабами, гнилыми водорослями, издававшими едкий йодистый запах. Я знал, что большая волна выносит на берег красивые камешки, и терпеливо, шаг за шагом, обследовал песчаную отмель и свежий намыв гальки.

— Эй, чего на моих трусиках расселся? — раздался тоненький голос.

Я поднял глаза. Надо мной стояла голая девчонка, худая, ребрастая, с тонкими руками и ногами. Длинные мокрые волосы облепили лицо, вода сверкала на ее бледном, почти не тронутом загаром теле с пупырчатой проголубью от холода.

Девчонка нагнулась, вытащила из-под меня полосатые, желтые с синим трусики, встряхнула и кинула на камни, а сама шлепнулась плашмя на косячок золотого песка и стала подгребать его к бокам.

— Оделась бы хоть... — проворчал я.

— Зачем? Так загорать лучше, — ответила девчонка.

— А тебе не стыдно?

— Мама говорит, у маленьких это не считается. Она не велит мне в трусиках купаться: от этого простужаются. А ей некогда со мной возиться...

Среди темных шершавых камней вдруг что-то нежно блеснуло — крошечная чистая слезка. Я вынул из-за пазухи папиросную коробку и присоединил слезку к своей коллекции.

— Ну-ка, покажи!..

Девчонка убрала за уши мокрые волосы, открыв тоненькое, в темных крапинах лицо, зеленые кошачьи глаза, вздернутый нос и огромный, до ушей, рот, и стала рассматривать камешки.

На тонком слое ваты лежали: маленький овальный прозрачный розовый сердолик и другой сердолик, покрупнее, но не обработанный морем и потому бесформенный,

глухой к свету; несколько камешков в фарфоровой узорчатой рубашке; две занятные окаменелости — одна в форме морской звезды, другая с отпечатком крабика; небольшой «куриный бог» — каменное колечко — и гордость моей коллекции дымчатый топаз — клочок тумана, растворенный в темном стекле.

— За сегодня собрал?

— Да ты что? За все время!..

— Не богато.

— Попробуй сама!..

— Очень надо! — она дернула худым шелушащимся плечом. — Целый день ползать по жаре из-за паршивых камешков!

— Дура ты! — сказал я. — Голая дура!

— Сам ты дурачок... Марки небось тоже собираешь.

— Ну, собираю! — ответил я с вызовом.

— И папиросные коробки?

— Собирал, когда маленьким был.

— А что ты еще собираешь?

— Раньше у меня коллекция бабочек была...

Я думал, что ей это понравится, и мне почему-то хотелось, чтобы ей понравилось.

— Фу, гадость! — она вздернула верхнюю губу, показав два белых острых клычка. — Ты раздавливал им головки и накалывал на картон?

— Вовсе нет, я усыплял их эфиром.

— Все равно гадость... Терпеть не могу, когда убивают.

— А знаешь, что я еще собирал? — сказал я, подумав. — Велосипеды разных марок!

— Ну да!

— Честное слово! Я бегал по улицам и спрашивал у всех велосипедистов: «Дядя, у вас какая фирма?» Он говорил: «Дукс», или там «Латвелла», или «Оппель». Так

я собрал все марки, вот только «Эндфилда модели Ройаль» у меня не было... — Я говорил быстро, боясь, что девчонка прервет меня какой-нибудь насмешкой, но она смотрела серьезно, заинтересованно и даже перестала сеять песок из кулака. — Я каждый день бегал на Лубянскую площадь, раз чуть под трамвай не угодил, а все-таки нашел «Эндфилд Ройаль»! Знаешь, у него марка лиловая, с большим латинским «Р»...

— А ты ничего... — сказала девчонка и засмеялась своим большим ртом. — Я тебе скажу по секрету: я тоже собираю...

— Что?

— Эхо... У меня уже много собрано. Есть эхо звонкое, как стекло, есть как медная труба, есть трехголосое, а есть горохом сыплется, еще есть...

— Ладно врать-то! — сердито перебил я.

Зеленые кошачьи глаза так и впились в меня.

— Хочешь, покажу?

— Ну, хочу...

— Только тебе, больше никому. А тебя пустят? Придется на Большое седло лезть.

— Пустят!

— Так завтра с утра и пойдем. Ты где живешь?

— На Приморской, у болгар.

— А мы — у Тараканихи.

— Значит, я твою маму видел. Такая высокая, с черными волосами?

— Ага. Только я свою маму совсем не вижу.

— Почему?

— Мама танцевать любит... — Девчонка тряхнула уже просохшими, какими-то сивыми волосами. — Давай купнемся напоследок!

Она вскочила, вся облепленная песком, и побежала к морю, сверкая розовыми узкими пятками...

Утро было солнечное, безветренное, но нежаркое. Море после шторма все еще дышало холодом и не давало солнцу накалить воздух. Когда же на солнце наплывало папиросным дымком тощее облачко, снимая с гравия дорожек, белых стен и черепичных крыш слепящий южный блеск, простор угрюмел, как перед долгой непогодою, а холодный ток с моря разом усиливался.

Тропинка, ведущая на Большое седло, вначале петляла среди невысоких холмов, затем прямо и сильно тянула вверх сквозь густой, пахучий ореховый лес. Ее прорезал неглубокий, усеянный камнями желоб — русло одного из трех бурных ручьев, что низвергаются с гор после дождя, рокоча и звеня на всю округу, но иссякают быстрее, чем высохнут дождевые капли на листьях орешника.

Мы отмахали уже немалую часть пути, когда я решил узнать имя моей приятельницы.

— Эй! — крикнул я желто-синим трусикам, бабочкой мелькавшим в орешнике. — А как тебя зовут?

Девчонка остановилась, я поравнялся с ней. Ореховая заросль тут редела, расступалась, открывая вид на бухту и наш поселок — жалкую горстку домишек. Огромное, серьезное море простиралось до горизонта водой, а за ним — туманными, мутно-синими полосами, наложенными в небе одна над другой. А в бухте оно притворялось кротким и маленьким, играя, протягивало вдоль кромки берега белую нитку, скусывало ее и вновь протягивало...

— Не знаю даже, как тебе сказать, — задумчиво проговорила девчонка. — Имя у меня дурацкое — Викторина, а все зовут Витькой.

— Можно Викой звать.

— Тьфу, гадость! — Она знакомо обнажила острые клычки.

— Почему? Вика — это дикий горошек.

— Его еще мышиным зовут. Терпеть не могу мышей!

— Ну, Витька так Витька. А меня — Сережа. Нам еще далеко?

— Выдохся? Вот мимо лесника пройдем, а там уже и Большое седло видно...

Но мы еще долго петляли терпко-медвянодушным орешником. Наконец тропинка раздалась в каменистую дорогу, бело сверкающую тонким, как сахарная пудра, песком, и вывела нас на широкий, пологий уступ. Тут, в гуще абрикосовых деревьев, ютилась сложенная из ракушника сторожка лесничего.

Едва мы подступили к уютному домику, как тишина взорвалась бешеным лаем. Гремя цепями, навешенными на длинную проволоку, на нас вынеслись два огромных, лохматых, грязно-белых пса, взвились на воздух, но, удушенные ошейниками, выкатили розовые языки, захрипели и шмякнулись на землю.

— Не бойся, они не достанут! — спокойно сказала Витька.

Зубы псов клацали в полушаге от нас. Я видел репьи в их загривках, клещей на храпе, раздувшихся с боб, глаза тонули в шерсти. Странно — из сторожки никто не вышел, чтобы унять псов. Но как ни кидались псы, как ни натягивали проволоку, они не могли нас достать. И когда я уверился в этом, мне стало щемяще радостно. Наш поход вел нас к скалам и пещерам, населенным таинственными голосами, не хватало лишь грозных стражей — драконов, преграждающих смельчакам доступ к тайне. И вот они, драконы, эти заросшие, безглазые, с красномясым зевом псы!

И опять мы петляем орешником по ниточно сузившейся тропе. Тут орешник не такой густой, как внизу, многие кусты посохли, на других листва изъедена в паутину мелким блестящим черным жучком.

Я устал и злился на Витьку — она знай себе выша-

гивала своими тонкими, прямыми, как палки, ногами с чуть скошенными внутрь коленками. Но впереди вдруг просветлело, я увидел склон, поросший низкой бурой травой; вдалеке тянулась кверху серая скала.

— Чертов палец! — на ходу бросила Витька.

По мере того как мы подходили, серый скалистый торчок вздымался выше и выше, — казалось, он вырастал несоразмерно нашему приближению. Когда же мы ступили в его темную, прохладную тень, он стал чудовищно громаден. Это был уже не Чертов палец, а Чертова башня, мрачная, загадочная, неприступная. Словно отвечая на мои мысли, Витька сказала:

— Знаешь, сколько людей хотели на него забраться — ни у кого не вышло. Одни насмерть разбились, другие руки-ноги поломали. А один француз все-таки залез.

— Как же он сумел?

— Вот сумел... А назад спуститься не мог, и сошел там с ума, и после от голода умер... А все-таки молодец! — добавила она задумчиво.

Мы подошли вплотную к Чертову пальцу, и Витька, понизив голос, сказала:

— Вот тут... — Она сделала несколько шагов назад и негромко крикнула: — Сережа!

— Сережа... — повторил мне в самое ухо насмешливо-вкрадчивый голос, будто родившийся в недрах Чертова пальца.

Я вздрогнул и невольно шагнул прочь от скалы, и тут навстречу мне от моря звонко плеснуло:

— Сережа!..

Я замер, и где-то вверху томительно-горько простонало:

— Сережа!..

— Вот черт!.. — сдавленным голосом произнес я.

— Вот черт!.. — прошелестело над ухом.

— Черт!.. — дохнуло с моря.



— Черт!.. — отозвалось в выси.

В каждом из этих незримых пересмешников чувствовался стойкий и жутковатый характер: шептун был злобно-вкрадчивым тихоней, морской голос принадлежал холодному весельчаку, в выси скрывался безутешный и лицемерный плакальщик.

— Ну чего ты?.. Крикни что-нибудь! — сказала Витька.

А в уши, перебивая ее голос, лезло шепотом: «Ну чего ты?», звонко, с усмешкой: «Крикни!» — и как сквозь слезы: «Что-нибудь...»

С трудом пересилив себя, я крикнул:

— Синегория!..

И услышал трехголосый отклик...

Я кричал, говорил, шептал еще много всяких слов. У эха был острейший слух. Некоторые слова я произносил так тихо, что сам едва слышал их, но они неизменно находили отклик. Я уже не испытывал ужаса, но всякий раз, когда невидимый шептал мне на ухо, у меня холодел позвоночник, а от рыдающего голоса сжималось сердце.

— До свидания! — сказала Витька и пошла прочь от Чертова пальца.

Я устремился за ней, но шепот настиг меня, прошелестев ядовито-вкрадчиво слова прощания, и хохотнула морская даль, и голос вверху застонал:

— До свидания!..

Мы шли в сторону моря и вскоре оказались на каменистом выступе, нависшем над пропастью. Справа и слева вздымались отроги гор, а под нами зияла бездна, в которой тонул взгляд. Если бы Чертов палец провалился сквозь землю, он оставил бы за собой такую вот огромную, страшную дыру. В глубине провала торчали острые скалы, похожие на клыки великана, в них тараном било темное, с чернильным оттенком море. Какая-то птица,

распластав недвижные, будто омертвелые крылья, медленно, кругами падала в бездну.

Казалось, что-то еще не кончено здесь, не пришли в равновесие грозные силы, вырвавшие из недр земли гигантский каменный палец, расколовшие горную твердь чудовищным колодцем, изострившие его дно шипами скал и заставившие море раздирать о них свой нежный язык. Весь каменный громозд вокруг и внизу был непрочным, зыбким, в скрытом внутреннем напряжении, стремящемся к переделу... Конечно, я не умел тогда назвать то мучительно-тревожное ощущение, какое охватило меня на обрыве Большого седла...

Витька легла на живот у самого обрыва и поманила меня. Я распластался возле нее на твердой и теплой каменистой глади, и сосущая, леденящая притягательность бездны исчезла, стало совсем легко смотреть вниз. Витька наклонилась над обрывом и крикнула:

— Ого-го!..

Миг тишины, а затем густой, рокочущий голос трубно прогромыхал:

— О-го-го-у!

В голосе этом не было ничего страшного, несмотря на силу его и густоту. Видимо, в пропасти обитал добрый великан, не желавший нам зла.

Витька спросила:

— Кто была первая дева?

И великан, немного подумав, отозвался со смехом:

— Ева!

— А знаешь, — сказала Витька, глядя вниз, — никому не удавалось спуститься с Большого седла к морю. Один дядька добрался до середины и там застрял...

— И умер с голоду? — спросил я насмешливо.

— Нет, ему кинули веревку и вытащили... А по-моему, спуститься можно.

— Давай попробуем!

— Давай! — живо и просто откликнулась Витька, и я понял, что это всерьез.

— В другой раз, — неловко отшутился я.

— Тогда пошли... Будь здоров! — крикнула Витька в пропасть и вскочила на ноги.

— Здоров!.. — гоготнул великан.

Мне еще хотелось поговорить с ним, но Витька потащила меня дальше.

Новое эхо, по слову Витьки, «звонкое, как стекло», гнездилось в узком, будто надрез ножа, ущелье. У эха был тонкий, пронзительный голос. Даже басом сказанное слово оно истончало до визга. И что еще противно: провизжав ответ, эхо не замолкало, а еще долго попискивало мышью в каких-то своих щелях.

Мы не стали задерживаться у расщелины и пошли дальше. Теперь нам пришлось карабкаться вверх по крутому склону, то покрытому бурой жесткой травой и колючками, то голому, полированно-скользкому. Наконец мы оказались на уступе, заваленном огромными каменными глыбами. Каждая глыба что-нибудь напоминала: корабль, танк, быка, Голову, которую победил Руслан, поверженного воина в доспехах, береговое орудие с отбитым стволом, верблюда, пасть ревущего льва, а то и части искромсанного гиганта — нос с горбинкой, ушную раковину, челюсть с бородой, могучий, так и не разжавшийся кулак, босую ступню, лоб с завитками кудрей...

Все эти закаменевшие существа, части существ, предметы, одетые камнем, перебрасывались, будто мячом, прозвучавшим среди них словом, с мгновенной быстротой и резкой краткостью отражая гранями звук. Тут-то и обитало «гороховое» эхо.

Но самым удивительным было эхо, о котором Витька ничего не сказала мне. Мы не шли к нему, а ползли по круче, цепляясь за выступы, за лишайник, сухие кусточки. Из-под наших ног и рук осыпались камешки, увле-

кали за собой более крупные камни, позади нас творился непрестанный грохот. Когда я оглянулся, то подивился малости той высоты, которая кружила нам голову на обрыве. Море уже не казалось отсюда гладью: беспредельное, неохватное, оно сливалось с небом, образуя с ним единую сферу — купол, царящий над всем зримым простором. И Чертов палец, подчеркивая нашу высоту, вновь умалился до торчка.

Витька остановилась у полукруглого темного провала, ведущего в глубь горы. Я заглянул туда и, когда глаза несколько привыкли к темноте, увидел сводчатую пещеру с длинными бородами каменных сосулек. Стены источали зеленое, красное, синее мерцание, из пещеры тянуло затхлостью склепа, и я невольно отшатнулся.

— Здравствуй! — крикнула Витька, сунув голову в дыру.

И будто заухали, сталкиваясь, пустые бочки под сводом, тяжко отдавалось: «Бом!», дребезжало по углам и низким охом наконец вырвалось наружу, словно сама гора испустила дух.

С почтительным изумлением глядел я на Витьку. Худая, крапчатая, с трепаными сивыми волосами, острыми клычками в углах губ, с зелеными блестящими глазами, она сама казалась мне сейчас такой же сказочной, как и сокровенный мир, в который она ввела меня.

— А ну крикни! — приказала Витька.

Я наклонился и «ахнул» в маленький черный рот горы. И опять там заухало, заверещало, а затем дохнуло мне в лицо нездешним холодом. Ужасное одиночество охватило меня вдруг, одиночество и беззащитность посреди этого каменистого, отвесного, из круч и падей мира, населенного загадочными, дикими голосами.

— Пойдем, — сказал я Витьке, выдавая свое смятение. — Пойдем отсюда!..

Дальнейший наш путь я воспринимал как бесконеч-

ное падение вниз. На этом пути мимо нас снова промелькнули и каменное кладбище, и Чертов палец, и больной, источенный орешник, и взлетающие на цепях, храпящие в удушье лесниковы псы, и другой, полный силы, орешник. Наше падение оборвалось в сухой балке, огибавшей поселок со стороны гор...

— Ну что, интересно было? — спросила Витька, когда мы ступили на нашу улицу.

Я вновь чувствовал себя в безмятежной привычности, и Витька уже не казалась мне сказочной хозяйкой горных духов. Просто карзубая, костлявая, некрасивая девчонка. И перед этой-то девчонкой я праздновал труса!

— Интересно... — сказал я лениво. — Только какая же это коллекция?

— А тебе лишь бы в коробку да за пазуху?

— Нет, отчего же... А только эхо каждому откликается, не тебе одной.

Витька как-то странно долго посмотрела на меня.

— Ну и что же, мне не жалко! — сказала она, тряхнув волосами, и пошла к своему дому.

Мы подружились с Витькой. Вместе облазили Темрюк-кая и гору Свадебную и на Свадебной, в гротике, нашли квакающее эхо. А вот Темрюк-кая с ее отрогами, мощными склонами и остро вонзающейся в небо вершиной оказалась совсем бесплодной...

Мы почти не расставались. Я привык к тому, что Витька купается голая: она была добрым малым, товарищем, и я совсем не видел в ней девчонки. Смутно я понимал природу ее нестыдливости: Витька считала себя безнадежно уродливой. Я никогда не встречал человека, который бы так просто, открыто, с таким ясным достоинством признавался в своей некрасивости. Рассказывая мне

как-то раз об одной школьной подруге, Витька бросила вскользь:

— Она почти такая же уродина, как я...

Однажды мы купались неподалеку от рыбацкой пристани, когда с высокого берега посыпала ватага мальчишек. Я немного знал их, но мои робкие попытки сблизиться с ними ни к чему не приводили. Эти ребята не первый год отдыхали в Синегории, считали себя старожилами и не допускали чужаков в свою ватагу. Коноводом у них был высокий сильный мальчик Игорь.

Я уже вышел из моря и, стоя на берегу, вытирался полотенцем, а Витька продолжала резвиться в воде. Подкараулив волну, она высоко подпрыгивала и перекатывалась на животе через гребень. Ее маленькие ягодицы сверкали.

Ребята небрежно ответили на мое приветствие и хотели уже пройти мимо, как вдруг один из них, в красных плавках, заметил Витьку:

— Ребята, глядите — голая девчонка!..

Тут пошла потеха — крики, свист, улюлюканье. Надо отдать должное Витьке: она не обращала внимания на выходки мальчишек, но это лишь подливало масла в огонь. Мальчик в красных плавках предложил «загнуть девчонке салазки». Предложение было встречено с восторгом, и мальчик в красных плавках вразвалочку направился к воде. Но тут Витька со звериной быстротой нагнулась, нашарила что-то в воде, и, когда выпрямилась, в руке у нее был увесистый камень.

— Только сунься! — сказала она, ощерив свои острые клычки. — Всю морду разобью!

Мальчик в красных плавках остановился и попробовал ногой воду.

— Холодная... — сказал он, и уши его стали краснее плавок. — Неохота лезть...

Подошел Игорь и уселся на песок у самой кромки

берега. Мальчик в красных плавках без слов понял своего вожака и опустился рядом, остальные ребята последовали их примеру. Они цепочкой отрезали Витьку от берега, одежды и полотенца.

Витька долго испытывала их терпение. Она то уплывала далеко в море, то возвращалась назад, ныряла, барахталась в воде, затем сидела на подводном камне, накатывая на себя руками волны. Но холод взял свое.

— Сережа! — крикнула Витька. — Дай мне трусики!

Все это время я, сам того не замечая, вытирался полотенцем. Надраенная кожа горела, словно от ожога, а я все тер посуху, будто хотел протереть себя до дыр. В жалкой и унизительной растерянности, владевшей мной, билось лишь одно отчетливое желание: только бы остаться непричастным Витькиному позору...

— Сережа, подай своей даме трусики! — шутовским голосом пропищал мальчишка в красных плавках.

Повернувшись на локте, Игорь сказал мне с угрозой:

— Попробуй только!..

Напрасное предупреждение: я и так не двинулся бы с места. Витька поняла, что ей нечего ждать от меня помощи. Жалко скорчившись и закрывая руками свой худенький живот, лиловая и пупырчатая от холода, с покривившимся лицом, вылезла она из воды и бочком побежала к своим трусикам, под хохот и свист мальчишек. То, чему она в чистоте своей души не придавала значения, предстало перед ней гадким, унизительным, стыдным.

Прыгая на одной ноге и все не попадая другой в кольцо трусиков, она кое-как оделась, подхватила с земли полотенце и побежала прочь. Вдруг она обернулась и крикнула мне:

— Трус! Трус!.. Жалкий трус!..

Из всех слов Витька выбрала самое злое, обидное и несправедливое. Должна же она была понять, что не ку-

лаков Игоря я испугался! Но ей, видимо, хотелось вконец опозорить меня перед ребятами.

Не знаю, был ли то каприз вожака, не желающего идти на поводу у стаи, или что-то заинтересовало Игоря в Витьке. Только он вдруг спросил меня дружелюбно и доверительно:

— Слушай, она что, чумовая?

— Конечно, чумовая! — подался я весь навстречу этой доброте.

— А чего ты с ней водишься?

Вовсе не для того, чтобы обелить Витьку, лишь желая выгородить себя, я сказал:

— С ней интересно. Она эхо собирает.

— Что? — удивился Игорь.

В низком порыве благодарной откровенности я тут же выложил все Витькины секреты.

— Вот это да! — восхищенно сказал Игорь. — Третье лето тут живу, а ничего подобного не слыхал!

— А ты не загибаешь? — спросил меня мальчишка в красных плавках.

— Хотите, покажу?

— Всё! — властно сказал Игорь, вновь становясь вожаком. — Завтра поведешь нас туда!..

С утра моросило, горы затянуло сизо-белыми, будто мыльными облаками, к угрюмому шуму побуревшего, цвета горной травы, моря примешивался рокот набухших ручьев и речек.

Но ватага Игоря решила не отступать. И вот снова вьется под ногой теперь уже знакомая тропка, а посреди нее, перекатывая гальку, бежит мутный, желтый ручеек. Орешник пахнет уже не медово-сладким, с легкой пригорчью духом, а гнилью палой листвы, кислетью размытой земли, в которой перетлевает что-то, источая уксусно-винный запах. Идти трудно, ноги разъезжаются на мокрой земле, оскальзываются на камнях...

Возле лесникова дома встретили нас обычным истошным лаем сторожевые псы, но в волглом воздухе лай их звучит мягче, глуше, да и сами они уже не кажутся такими грозными в своей мокро свалявшейся шерсти. Видны их черные глаза, похожие на маслины.

А вот и больной, пораженный жучком орешник. Ветер и дождь пообрывали его слабую, источенную листву, он стоит оголенный, печальный, и сквозь него виднеется угрюмая протемь моря.

Чертов палец, затянутый облаками, долго не показывался, затем в недосягаемой выси прочернела его вершина, скрылась, на миг обнажился во весь рост его ствол и вмиг истаял в клубящемся воздухе. Странно — ветер рвал к морю, а легкие, как пар изо рта, облака тянули с моря. Они скользили по самой земле, накрывали нас влажной дымкой и исчезали, оседая росой на склонах.

Наконец из облачной мути вновь выдвинулся Чертов палец и преградил нам дорогу.

— Ну, подавай свои чудеса в решете, — без улыбки сказал Игорь.

— Слушайте! — произнес я торжественно, чувствуя, как знакомо холодеет позвоночник, сложил ладони рупором и закричал: — Ого-го!..

В ответ — тишина, ни зловеще-вкрадчивого шепота, ни хохочущего всплеска с моря, ни жалобы в выси.

— Ого-го! — крикнул я еще раз, подступив ближе к Чертову пальцу, и все ребята подхватили мой возглас.

Чертов палец молчал. Мы кричали, и еще, и еще — и хоть бы малейший отзвук! Тогда я кинулся к пропасти, ребята — за мной, и что было мочи заорал в клубящуюся глубь. Но и великан не отозвался.

В растерянности я заметался от пропасти к Чертову пальцу, от Чертова пальца к расщелине, и снова к пропасти, и снова к Чертову пальцу. Но горы безмолвствовали...

Я жалко стал уговаривать ребят подняться наверх, к пещере, — уж там-то мы наверняка услышим эхо! Ребята стояли молчаливые и суровые, как горы, потом Игорь разжал губы, чтобы сказать одно только слово:

— Трепач!

И, круто повернувшись, он пошел прочь, увлекая за собой всю ватагу.

Я плелся позади, тщетно пытаясь понять, что же произошло. Меня не заботило презрение ребят, я хотел лишь постигнуть тайну своей неудачи. Неужто горы отзываются только на Витькин голос? Но, когда мы были с ней вместе, горы послушно откликались и мне. Может, она впрямь владеет ключом, позволяющим ей запирать в каменных пещерах голоса?..

Наступили печальные дни. Витьку я потерял, и даже мама осудила меня. Когда я рассказал ей загадочную историю с эхом, мама смерила меня долгим, чуждым, изучающим взглядом и сказала невесело:

— Все очень просто — горы отзываются только чистым и честным...

Ее слова открыли мне многое, но не загадку горного эха.

Дожди не прекращались, море как бы поделилось на две части: в бухте оно было мутно-желтым от песка, наносимого реками и ручьями, в отдалении блистало чистым телом. Непрестанно дул ветер. Днем он размахивал серой простыней дождя, ночью, всегда ясной, в мелких белых звездах, он был сухим и черным, потому что обнаруживал себя в черном — в мятущихся сучьях, ветвях, стволах, в угольных тенях, пробегающих по освещенной земле.

Несколько раз я мельком видел Витьку. Она ходила на море в любую погоду и сумела набрать от скудного,

редкого солнца густой, шоколадный загар. От тоски и одиночества я каждый день сопровождал теперь маму на базар, где шла торговля местными продуктами — овощами, абрикосами, козьим молоком, варенцом. Раз я повстречал на базаре Витьку. Она была одна, на руке у нее висела плетеная сумка. Я смотрел, как она ходит среди лотков и бидонов в своих желто-синих трусиках, решительно отбирает помидоры, сама шлепает на весы шматок мяса, и с болью чувствовал, что потерял хорошего друга.

Утром в первый солнечный день я бродил по саду, подбирая палые, с мягкой гнильцой, абрикосы, когда кто-то окликнул меня. У калитки стояла девочка в белой кофточке с синим матросским воротником и синей юбке. Это была Витька, но я не сразу ее узнал. Ее сивые волосы были гладко причесаны и сзади повязаны ленточкой, на загорелой шее ниточка коралловых бус, на ногах туфли из лосиной кожи. Я бросился к ней.

— Слушай, мы уезжаем, — сказала Витька.

— Почему?

— Маме тут надоело... Вот что: я хочу оставить тебе свою коллекцию. Мне она все равно ни к чему, а ты покажешь ребятам и помиришься с ними.

— Никому я не покажу! — горячо воскликнул я.

— Как хочешь, пусть она останется у тебя. Ты догадался, почему у вас ничего не вышло?

— А ты откуда знаешь, что не вышло?

— Слышала... Так догадался?

— Нет...

— Понимаешь, самое главное — это с какого места кричать. — Витька доверительно понизила голос. — У Чертова пальца — только со стороны моря. А ты, наверное, кричал с другой стороны — там никакого эха нету. У пропасти надо свеситься вниз и кричать прямо в стенку. Помнишь, я тогда тебе голову нагнула?.. В расще-

лине ори в самую глубину, чтобы голос дальше ушел. А вот в пещере всегда отзовется, только вы туда не дошли. И у камней тоже...

— Витька!.. — начал я покаянно.

Ее тонкое лицо скривилось.

— Я побегу, а то автобус уйдет...

— Мы увидимся в Москве?

Витька мотнула головой.

— Мы же из Харькова...

— А сюда вы еще приедете?

— Не знаю... Ну, пока! — Витька смущенно склонила голову к плечу и сразу побежала прочь.

У калитки стояла моя мама и долгим, пристальным взглядом глядела вслед Витьке.

— Кто это? — как-то радостно спросила мама.

— Да Витька, она у Тараканихи живет.

— Какое прелестное существо! — глубоким голосом сказала мама.

— Да нет, это Витька!..

— Я не глухая... — Мама опять посмотрела в сторону, куда убежала Витька. — Ах, какая чудесная девчонка! Этот вздернутый нос, пепельные волосы, удивительные глаза, точеная фигурка, узкие ступни, ладони...

— Ну что ты, мама! — вскричал я, огорченный странным ее ослеплением: оно казалось мне чем-то обидным для Витьки. — Ты бы видела ее рот!

— Прекрасный большой рот!.. Ты ровным счетом ничего не понимаешь!

Мама пошла к дому. Я несколько секунд смотрел ей в спину, потом сорвался и кинулся к автобусной станции.

Автобус еще не ушел, последние пассажиры, нагруженные сумками и чемоданами, штурмовали двери. Я сразу увидел Витьку с той стороны, где не открывались окна. Рядом с ней сидела полная черноволосая женщина в красном платье, ее мать.

Витька тоже увидела меня и ухватилась за поручни рамы, чтобы открыть окно. Мать что-то сказала ей и тронула за плечо, верно желая усадить Витьку на место. Резким движением Витька смахнула ее руку.

Автобус взревел мотором и медленно пополз по немощеной дороге, растянув за собой золотистый хвост пыли. Я пошел рядом. Закусив губу, Витька рванула поручни, и рама со стуком упала вниз. Мне легче было считать Витьку красивой заглазно: острые клычки и темные крапинки, раскиданные по всему лицу, портили тот пересозданный мамой образ, в который я уверовал.

— Слушай, Витька, — быстро заговорил я, — мама сказала, что ты красивая. У тебя красивые волосы, глаза, рот, нос... — автобус прибавил скорость, я побежал, — руки, ноги, правда же, Витька!..

Витька только улыбнулась своим большим ртом, радостно, доверчиво, преданно, открыв в этой большой улыбке всю свою хорошую душу, и тут я своими глазами увидел, что Витька и верно самая красивая девчонка на свете.

Тяжело оседая, автобус въехал на деревянный мосток через ручей — границу Синегории. Я остановился. Мост грохотал, ходил ходуном, но передние колеса автобуса уже ухватили дорогу. В окошке снова появилась Витькина голова с трепещущими на ветру пепельными волосами и острый загорелый локоть. Витька сделала мне знак и с силой швырнула через ручей серебряную монетку. Сияющий следок в воздухе сгас в пыли у моих ног. Была такая примета: если кинешь тут монетку, когда-нибудь непременно вернешься назад...

Мне захотелось, чтобы скорее пришел день нашего отъезда. Тогда я тоже брошу монетку, и мы снова встретимся с Витькой.

Но этому не суждено было сбыться. Когда через месяц мы уезжали из Синегории, я забыл бросить монетку.

АНАТОЛИЙ МОШКОВСКИЙ



НАШ МАРАФОН

Из подъезда быстро вышел Левка Квасников и увидел нас.

— Ребятки, проводите до трамвая!

Ленька Пушкарев возмущенно оторвал от книги голову:

— Вот еще! Дорогу забыл? Ординарцев решил нанять?

Вчера, наконец дождавшись своей очереди, Ленька принес из городской библиотеки «Остров сокровищ» — обтрепанную, захватанную, с подклеенными страницами книгу, и мы, присев рядышком у подвального окна, то и дело касаясь друг друга головами, читали ее.

Левка хоть и спешил куда-то, но наше безучастие сильно задело его. Он остановился и пригрозил:

— Потом жалеть будете!

— Поищи других, — Ленька опять уткнулся в книгу.

— Ребята, — сказал тогда Левка, переходя на таинственный шепот, — у меня для вас есть чрезвычайно важное сообщение...

— Какое? — спросил я, не вытерпев, и поднял голову, хотя Ленька продолжал читать.

Левка хитро улыбнулся, заиграл бровями и почесал затылок.

— Сейчас не могу сказать, а вот у трамвайной остановки... Вы и представить не можете, что теряете! Как вы будете огорчены! Ошеломлены! Убиты!

Ленька снова оторвал от книги голову:

— Врешь, как всегда. Нашел простачков.

— Даю слово, — торжественно произнес Левка.

— Знаем мы, что оно сто́ит, — сказал я.

— Вы не те люди, которых я могу обманывать! — клятвенно провозгласил Левка. — Идемте! Увидите!

— Может, сходим? — неуверенно сказал я Леньке.

— Да ты уже забыл все его штучки! — накинулся на меня Ленька, но тут же остыл и махнул рукой. — Ладно! — Стремительно вскочил с цементного барьерчика, защищавшего подвальное окно, и мы пошли.

Левка был весел, оживлен, разговаривал о том, о сем: о новых фильмах, о гонщиках длительного велопробега, которые скоро должны пройти через наш город.

Ленька настороженно слушал его.

— Ты лучше расскажи, зачем оторвал нас от книги.

— Так ведь был уговор: на трамвайной остановке... Повторяю, вы не из тех, кого можно обманывать.

На трамвайной остановке Ленька в упор спросил:

— Ну? Мы тебя слушаем.

— Одну минуту... Вот увидим трамвай, идущий сю-

да, — сразу же расскажу. Это для моей безопасности и полной гарантии, что вы меня не одурачите...

— Мы и не собираемся, — сказал я.

— Как знать...

Трамвая не было, и Левка начал молоть языком насчет моделей самолетов с бензиновым моторчиком и заводных танках.

Наконец вдали показался трамвай.

— Вот он идет! — крикнул я. — Скорей рассказывай!

— Прекрасно, — ответил Левка, поглядывая на приближающийся трамвай, — итак, приступаю... Вы, конечно, все знаете Сашку Грушина, а ты, Ленька, по-моему, даже дружишь с ним...

— Допустим. — Ленька подозрительно поглядел на Левкино лицо, хитроглазое, толстое, с язвительно узкими губами. — А дальше что?

— Как, по-твоему, его коллекция марок? Ничего? Помнишь старинный альбом с напечатанными черными марками, на которые нужно наклеивать настоящие?

— Ну помню, — процедил Ленька. — Что из этого?

Трамвай уже подошел к остановке, из него вылезали люди, мы стояли рядом с вагоном, а Левка все не торопился со своим чрезвычайно важным сообщением.

— А ты знаешь, что этот самый Сашка через три дня уезжает в Минск?

— Врешь, — сказал Ленька. — Ты всегда все врешь.

— В том-то и дело, что на этот раз нет...

— Ну и что с того, что уезжает? — спросил я. — Для этого ты тащил нас сюда?

— Спокойно, джентльмены, — проговорил Левка, — не торопитесь, в третий раз повторяю: я слишком уважаю вас, чтоб допустить по отношению к вам...

Трамвай дернулся. Левка вскочил в него, высунулся из окна и весело, даже как-то счастливо крикнул:

— Так вот, джентльмены, он хотел подарить альбом

тебе, Ленька, или тебе, — он назвал меня, — как самым ярым филателистам...

Трамвай набирал скорость. Мы с Ленькой, задыхаясь, бежали у окна и ловили каждое слово.

— Хотел подарить вам, но я стал цыганить и клепать на вас, и тогда Сашка сказал, что подарит альбом первому, кто явится к нему... Дошло? — Левка состроил ужасную гримасу: скривил набок нос и задвигал у висков поднятые вверх ладони, изображая ослиные уши...

Трамвай умчался от нас.

— Ну подожди! — крикнул я. — Ты у нас еще попрыгаешь! Так отлупим! — и уже спокойней сказал: — Надо было вскочить в трамвай, приехали б вместе — Сашка дал бы тебе... Ох и тип!

— Нет, так не годится, — сказал Ленька и замкнулся в себе, задумался, потом вдруг резко вскинул голову и решительно сказал: — Бежим к Двине.

— Зачем? — спросил я.

— Не рассуждай! Вперед!

И со всех ног бросился к реке. Я — следом. Мы летели как очумелые. Едва не сбили какую-то дряхлую старушку. От моей ноги отскочил детский автомобильчик. Мы пролетели садик, скатились по обрыву к Двине, и Ленька на ходу стал сбрасывать штаны и рубаху.

Я уже все понял и тоже стал раздеваться. Только б успеть!

— Скатывай и вяжи, — приказал Ленька.

Мы скрутили штаны, рубахи, вложили в них тапки, а Ленька и «Остров сокровищ», привязали ремнями к голове и бросились в воду. Вдали был большой городской мост. Через него проезжал трамвай. Но тот, в котором ехал Левка, еще не проезжал. Это я знал точно. На Центральной улице шел ремонт линии, и трамваи там ходили осторожно, медленно, минут по пять простаивали.

Плыли мы изо всех сил. Какой широкой показалась на

этот раз река! А как медленно мы плыли! Сносило течение, но мы напрягали все мускулы рук и ног. Долго пришлось нам плыть — ой как долго! — прежде чем ноги коснулись дна.

Выбрались на берег, сорвали с голов одежду и стали натягивать на мокрое тело. Трусы не выкручивали — некогда было. На четвереньках полезли на береговой склон и снова помчались по пыльным улицам и переулочкам. Наш марафон продолжался. Впереди бежал Ленька, за ним скакал я.

Дышали мы как лошади на скачках. Бешено колотились сердца. Не хватало воздуха. По вискам тек пот.

Сашка Грушин жил неподалеку от реки, и Левке придется с километр идти к его дому от трамвайной остановки. Конечно, трамвай уже прошел мост и, наверно, грохотал по Вокзальной улице. Но Левке теперь не обогнать нас! Он-то ведь не торопится: небось сидит на удобной скамье и радуется, как досадил, объегорил нас...

Вот и дом Грушина — двухэтажный, кирпичный, с зеленым заборчиком и широким двором.

— Дома ли Сашка? — задыхаясь, спросил у меня Ленька, когда мы стали подниматься по лестнице.

Ленька стукнул в дверь. Открыл нам Сашка — худой и длинный.

— Лень? — радостно крикнул он. — Ну и молодчина! Я буду писать тебе из Минска, а ты?

«А как же с альбомом? — подумал я. — Каждую минуту может нагрянуть Левка...» Но Ленька и не заикался про марки, будто не было ему до них дела, будто не ради них затеяли мы этот нелегкий бег и с ходу форсировали Западную Двину — до сих пор трусы и штаны противно липли к телу.

В комнате у Грушиных все было вверх дном. Стояли ящики с посудой и книгами, мешки с одеждой, какие-то свертки и тюки. Ленька ходил возле них, но по-прежнему

даже и не намекнул на марки. Волосы на его затылке высохли. Дышали мы ровно, бесшумно. Никто б и не догадался, как добирались мы сюда.

— Лень, — сказал вдруг Сашка, — хочу тебе одну вещь подарить... — он повернулся к этажерке. — Левка все напрашивался, и я чуть было не отдал ему... А здесь — ты. Бери...

— Спасибо, — Ленька взял у него альбом. — Спасибо, только я не возьму... Твой дедушка и отец начали собирать их, а ты... Замечательная коллекция! Потом жалеть будешь... Ни мне и никому другому не дари... Оставь себе, не спеши... Это ведь большая ценность и память...

Сашка, видно, был сбит его напором и доводами и растерянно смотрел на нас. Да и мне, признаться, было не по себе: никак не ожидал я, что Ленька скажет ему такое.

— Но я... я обещал, — пробормотал Сашка. — Неловко... Не по-товарищески...

— Очень даже ловко! — бросился уговаривать его Ленька. — Хорошенько подумай, а потом, если захочешь, можешь прислать почтой.

— Правда? — Сашка посмотрел на нас уже не так растерянно и даже улыбнулся. — А вы не подумаете, что я...

— Не подумаем! — обрезал его Ленька... — Да что мы здесь под ногами путаемся? Мы посидим во дворе, посмотрим альбом и вернемся... Хорошо?

— Пожалуйста, — сказал Сашка, и в голосе его почувствовалось облегчение.

Зато теперь мне было как-то муторно. Давно, кажется, знал я Леньку — отчаянный парень, даже забияка. Справедливый, умный... Давно знал его, но, выходит, знал далеко не все. Не знал, например, что он может быть вот таким...

Мы спустились с Ленькой по лестнице во двор, сели



на лавочку под кленом и страница за страницей — они были тугие и заманчивые — стали рассматривать альбом. Мы кончали его рассматривать, когда во двор неторопливой походкой, посвистывая, вошел Левка. Увидев нас, он остановился. Лицо его вдруг как-то неестественно стянулось, съежилось, усохло, а узкие глаза вытаращились.

— Вы... вы... вы откуда здесь? — спросил он.

— Откуда и ты, джентльмен, — сказал я.

— Что... что вы здесь делаете?

— Марки смотрим, — Ленька даже не поднял головы.

— Обормоты! — крикнул Левка, бледнея. — Я вам как друзьям, а вы... — он повернулся и какой-то суетливой, прыгающей, оскорбленной походкой пошел со двора.

— Прекрасные марочки! — Ленька вздохнул, захлопнул альбом, и мы пошли к Сашке помогать укладываться.

ВЛАДИМИР СОЛОУХИН



КАРАВАЙ ЗАВАРНОГО ХЛЕБА

По ночам мы жгли тумбочки. На чердаке нашего общежития был склад старых тумбочек. Не то чтобы они совсем никуда не годились, напротив, они были ничуть не хуже тех, что стояли возле наших коек, — такие же тяжелые, такие же голубые, с такими же фанерными полочками внутри. Просто они были лишние и лежали на чердаке. А мы сильно зябли в нашем общежитии. Толька Рябов даже оставил однажды включенной сорокасвечовую лампочку, желтенько светившуюся под потолком комнаты. Когда утром мы спросили, почему он ее не погасил, Толька ответил: «Для тепла...»

Обреченная тумбочка втаскивалась в комнату. Она наклонялась наискосок, и по верхнему углу наносился удар тяжелой чугунной клюшкой. Тумбочка разлеталась на куски, как если бы была стеклянная. Густо крашенные дощечки горели весело и жарко. Угли некоторое время сохраняли форму то ли квадратной стойки, то ли боковой доски, потом они рассыпались на золотую, огненную мелочь.

Из печи в комнату струилось тепло. Мы, хотя и сидели около топки, стараясь не занимать самой середины, чтобы тепло беспрепятственно струилось и расходилось во все стороны. Однако к утру все мы мерзли под своими одеялишками.

Конечно, может быть, мы не так дорожили бы каждой молекулой тепла, если бы наши харчишки были погуще. Но шла война, на которую мы, шестнадцатилетние и семнадцатилетние мальчишки, пока еще не попали. По студенческим хлебным карточкам нам давали четыреста граммов хлеба, который мы съедали за один раз. Наверное, мы еще росли, если нам так хотелось есть каждый час, каждую минуту и каждую секунду.

На базаре буханка хлеба стоила девяносто рублей — это примерно наша месячная стипендия. Молоко было двадцать рублей бутылка, а сливочное масло — шестьсот рублей килограмм. Да его и не было на базаре, сливочного масла, оно стояло только в воображении каждого человека как некое волшебное вещество, недосягаемое, недоступное, возможное лишь в романтических книжках.

А между тем сливочное масло существовало в виде желтого плотного куска даже в нашей комнате. Да, да! И рядом с ним еще лежали там розовая глыба домашнего окорока, несколько белых сдобных пышек, вареные вкрутую яйца, литровая банка с густой сметаной и большой кусок запеченной в тесте баранины. Все это хранилось в тумбочке Мишки Елисеева, хотя на первый взгляд его

тумбочка ничем не выделялась среди четырех остальных тумбочек: Генки Перова, Тольки Рябова, Володьки Пономарева и моей.

Отличие состояло только в том, что любую нашу тумбочку можно было открыть любому человеку, а на Мишкиной красовался замок, которому, по его размерам и тяжести, висеть бы на бревенчатом деревенском амбаре, а не на столь хрупком сооружении, как тумбочка: знали ведь мы, как ее надо наклонить и по какому месту ударить клюшкой, чтобы она сокрушилась и рухнула, рассыпавшись на дощечки.

Но ударить по ней было нельзя, потому что она была Мишкина и на ней висел замок. Неприкосновенность любого не тобой повешенного замка вырабатывалась у человека веками и была священная для человека во все времена, исключая социальные катаклизмы в виде слепых ли стихийных бунтов, закономерных ли революций.

Отец Мишки работал на каком-то складе неподалеку от города. Каждое воскресенье он приходил к сыну и приносил свежую обильную еду. Красная, круглая харя Мишки с маленькими голубыми глазками, запрятанными глубоко в красноте, лоснилась и цвела, в то время как, например, Генка Перов был весь синенький и прозрачный, и даже я, наиболее рослый и крепкий подросток, однажды, резко поднявшись с койки, упал от головокружения.

Свои припасы Мишка старался истреблять тайком, так чтобы не дразнить нас. Во всяком случае, мы редко видели, как он ест. Однажды ночью, проснувшись, я увидел Мишку сидящим на койке. Он намазал маслом хлеб, положил сверху ломоть ветчины и стал жрать. Я не удержался и заворочался на койке. Может быть, втайне я надеялся, что Мишка даст и мне. Тяжкий вздох вырвался у меня помимо воли. Мишка вдруг резко оглянулся, по-

том, напустив спокойствие, ответил на мой вздох следующей фразой:

— Ну ничего, не горюй, как-нибудь переживем.

Рот его в это время был полон жеваным хлебом, перемешанным с желтым маслом и розовой ветчиной.

В другую ночь я слышал, как Мишка чавкает, забравшись с головой под одеяло. Ничто утром не напоминало о ночных Мишкиных обжорствах. На тумбочке поблескивал тяжелый железный замок.

К празднику Конституции присоединилось воскресенье, и получилось два выходных дня. Тут-то я и объявил своим ребятам, что пойду к себе в деревню и что уж не знаю, удастся ли мне принести ветчины или сметаны, но черный хлеб гарантирую. Ребята попытались отговорить меня: далеко, сорок пять километров, транспорт (время военное) никакой не ходит, на улице стужа и как бы не случилось метели. Но мысль оказаться дома уже сегодня так овладела мной, что я после лекций, не заходя в общежитие, отправился в путь.

Это был тот возраст, когда я больше всего любил ходить встречать ветра. И если уже нет возможности держать против ветра все лицо, подставишь ему щеку, вроде бы разрезаешь его плечом, и идешь, и идешь... И думаешь о том, какой ты сильный, стойкий; и кажется, что обязательно видит, как ты идешь, твоя однокурсница, легкомысленная, в сущности, девочка Оксана, однако по взгляду которой ты привык мерить все свои поступки.

Пока я шел по шоссе, автомобили догоняли меня. Но все они везли в сторону Москвы либо солдат, либо ящики (наверное, с оружием) и на мою поднятую руку не обращали никакого внимания. Морозная снежная пыль, увлекаемая скоростью, перемешивалась с выхлопными газами, завихрялась сзади автомобиля, а потом все успокаивалось, только тоненькие струйки серой поземки бежали мне навстречу по пустынному темному шоссе.

Когда настала пора сворачивать с шоссе на обыкновенную дорогу, начало темнеть. Сперва я видел, как поземка перебегает дорогу поперек, как возле каждого комочка снега или лошадиного помета образуется небольшой барханчик, а каждую ямку — человеческий ли, лошадиный ли след — давно с краями засыпало мелким, как сахарная пудра, поземным снежком.

Назад страшно и оглянуться — такая низкая и тяжелая чернота зимнего неба нависла над всей землей. Впереди, куда вела дорога, было немного посветлее, потому что и за плотными тучами все еще брезжили последние отблески безрадостного декабрьского дня.

По жесткому шоссе идти было легче, чем по этой дороге: снег проминался под ногой, отъезжал назад, шаг мельчился, сил тратилось гораздо больше.

Меня догнал человек — высокий усатый мужик, одетый поверх пальто в брезентовый плащ и закутанный башлыком. Этого небось не продувает. Случайный попутчик шагал быстро, и я старался тянуться за ним, хотя и знал, что для моей «марафонской» дистанции такой темп не годится, что я обессилею раньше, чем доберусь до села.

Ему-то что! Он ждет лишь Бабаева. Скоро он будет дома, а мне идти еще двадцать километров.

Дома самовар поставит ему жена, чайку горяченького. Или, может, достанет из печки щей. Они, конечно, постные, остыли, чуть тепленькие. Но все равно, если взять ломоть хлеба потолще...

Я почувствовал, что желудок мой совершенно пуст, и, для того чтобы дойти до дому, я обязательно должен что-нибудь съесть, хотя бы жесткую хлебную корку со стаканом воды. Некоторое время я шел, вспоминая, как однажды, еще до войны, съел с морсом целую буханку хлеба. А то еще, помнится, я варил себе обеды, когда жил не в общежитии, а на частной квартире. Это тоже было до войны. Я шел на базар и покупал на рубль жирной-пре-

жирной свинины. Она стоила десять рублей килограмм. Значит, на рубль доставался мне стограммовый кусок. Эту свинину, изрезав на одинаковые кубики, я варил с вермишелью. Белые кубики плавали сверху, и, когда с ложкой вермишели попадал в рот кубик, во рту делалось вкусно-вкусно... Продавали до войны и сухой клюквенный кисель. Разведешь розовый порошок в стакане кипятку...

Тут у меня в голове гвоздем засела мысль: надо будет у этого мужика, когда он дойдет до своего дома, попросить кусок хлеба, — может, даст. Если есть дом, значит, есть и хлеб в доме. Все же не голодовка теперь. Но вот ведь какая досадная психология! Когда ты сыт и у тебя все есть, ничего не стоит спросить у других людей и хлеба, и еще чего-нибудь. Но когда на этот кусок вся надежда...

«Значит, что же, вроде милостыни получится? «Подайте христа ради!» Так, что ли? Вовсе не милостыня. Вместе идем. Почему не спросить?»

Однако я-то знал, что мой язык ни за что не повернется, чтобы и вправду в виде милостыни попросить кусок хлеба. «А может, попроситься ночевать? До его деревни километра три да там двадцать. Не дойдешь. А если ночевать пустит, то небось и поесть даст. Факт! Вот жаль, я неразговорчивый человек. Другой на моем месте теперь казался бы ему лучшим другом. Бывают такие говоруны. Теперь он сам бы уговаривал меня зайти к нему переночевать или просто чайку попить. Или, может быть, щей... Они хоть и остыли теперь, чуть тепленькие...»

— Война, брат, переживать надо! — говорил между тем спутник, не сбавляя ходу.

Наверное, мой вид, мое демисезонное пальтишко, моя усталость, — наверное, все это возбудило сочувствие, иначе с чего бы это он меня взялся утешать.

— Теперь все переживают. На фронте переживают — смерти ждут каждый момент; здесь матерям да женам за

своих страшно — опять переживания. А у кого уж убили, кому «похоронные» пришли, тем и подавно слезы и горе. А мы с тобой еще что! Руки, ноги целы, идем к себе домой, а не где-нибудь в окопе лежим. Значит, как-нибудь переживем.

Мне вспомнилось, что точно такой же фразой утешал меня Мишка, сидя на кровати и уминая ветчину с маслом. «Тебе-то что не пережить!» — зло подумал я про спутника. Но все же через некоторое время остыл: «Сердиться мне на него за что? За что злиться? Что у него дом ближе, чем у меня, или что одет теплее? Я так на него злюсь, — думал я, — как будто я уж попросил хлеб, а он отказал. Или насчет ночлега. Я ведь не спрашивал. За что же злиться? А может, он и хлеба даст, и ночевать пустит, — ничего не известно».

Но и до сих пор я не знаю, как отнесся бы попутчик к моей просьбе насчет хлеба или ночлега, потому что, когда дошли до его деревни, он свернул с дороги на тропинку вдоль домов и сказал мне, дотронувшись до башлыка:

— Ну, бывай здоров! Не падай духом...

Может быть, на полсекунды опередил он меня со своим прощанием. А может быть, если бы и минуту стояли на перепутье, всё равно я не осмелился бы спросить, кто знает. Так или иначе мужик пошел к своему самовару и к своим щам, а я остался один среди ночи, вошедшей теперь в полную силу.

Метель становилась сильнее. Местами колею перемело так, что шагов десять приходилось идти, увязая почти до колен. Радостно было после этого опять почувствовать под ногами твердую опору. Хорошо еще, что в руках была палка, которой я нащупывал дорогу там, где перемело.

Когда-то здесь прошла, должно быть, колонна машин, и хоть колею давно замело снегом и узкий санный путь

проторился над ней, все же колея существовала, и палка находила ее.

Как ни старался я вообразить, что глаза самой красивой девчонки со всего курса, синие глаза Оксаны смотрят на меня в эту минуту и, значит, надо идти как можно тверже и прямее, не сгибаться под ветром, не поворачиваться к нему спиной, как ни почетна была моя задача принести каравай хлеба ребятам из общежития, ночь взяла свое — мне стало жутко.

Теперь кричи не кричи, зови не зови — никто не услышит. Нет поблизости ни одной деревеньки. Да и в деревнях все люди сидят по домам, ложатся, наверное, спать, прислушиваясь к вою ветра в застрехах, в трубе, в оконных наличниках. Даже если кошка дома, то рады и за кошку, что сидит на стуле возле печки, а не шляется где-нибудь.

Я почувствовал, что, несмотря на холод, неприятная липкая испарина выступила по всему телу, и, словно бы вместе с ней, ушли, улетучились последние силенки. Ноги сделались как из ваты, под ложечкой ощутилась некая пустота, и безразличие овладело мной. Скорей всего спасло меня то, что не на что было присесть. Если бы я нес хоть пустяковый чемоданишко, то, наверное, сел бы на него отдохнуть и, конечно, заснул: раскопали бы на другой день, наткнувшись на островерхий бугорок снега.

Но присесть было не на что, и я механически шагал, приминая рыхлый снежок и почти не продвигаясь вперед из этой бесконечной ночи к крохотному и недостижимому островку тепла и покоя, где теперь спит моя мать, не зная, что я бреду сквозь метельную темень.

То, что мне не дойти, было ясно. Но в то же время (может быть, единственно от молодости) не верилось, что я в конце концов здесь погибну!

Случится что-нибудь такое, что поможет мне, выручит, и я все-таки дойду, и сяду на лавку около стола, и мать

достанет мне с печи теплые валенки, и я наемся, а потом закурю, и ничего не будет слаще той глубокой, той долгожданной затяжки. Нет, что-нибудь произойдет, что я все-таки не останусь здесь навсегда. Ведь это так реально: теплый дом, и мать, и валенки, и еда. Это ведь все существует на самом деле, а не придумано мною. Нужно ведь только дойти — и все. А дома есть и валенки, и, конечно, есть у матери припрятанная на случай махорка...

Вдруг я заметил, что мои ноги (а я глядел теперь только на свои ноги) как бы отбрасывают тень, да и от самого меня простерлась вперед темная полоса. Я оглянулся. Случилось именно самое невероятное, самое чудесное и волшебное: по застарелой колее, беспорядочно разбрасывая свет фар то вправо, то влево, то кверху, то книзу, пробирался настоящий автомобиль! Я еще не знал, какой он: легковой, или полуторка, или трехтонка, или, может быть, «студебеккер», но это безразлично — главное, автомобиль, и свет, и люди, и, как и следовало ожидать, я спасен, я не останусь замерзать в этой заснеженной черноте!

О том, что автомобиль может не остановиться, а проехать мимо, у меня не было и мысли. Он для того только и появился здесь, чтобы подобрать и спасти меня, как же он может не остановиться? Если бы я знал, что он может не остановиться, я бы встал посреди дороги и растопырил руки. А то я шагнул в сторонку и, кажется, даже не сделал самого простого — не поднял руки, настолько очевидно было, что меня нужно подобрать. И вот автомобиль (это оказалась полуторка), разбрасывая снег, проехал мимо меня. Ночь хлынула в пространство, на время отвоеванное у нее человеческим светом, залила его еще более густой, еще более непроглядной темнотой.

Полуторка не ехала, а ползла. В другое время мне ничего не стоило бы нагнать ее пятью прыжками и перекинуть себя через борт, едва коснувшись ногой какого-

нибудь там выступа. Но теперь мне показалось, что если я, собрав последние крохи сил, побегу, а потом буду карабкаться, вдруг не догоню машину или не сумею в нее забраться, и сорвусь, и упаду в снег, то уж, значит, и не встану. Вот почему я не побежал.

Отъехав шагов двести, машина остановилась. И неудивительно. Удивительно было другое: как она могла оказаться на этой дороге и как она вообще по ней пробиралась?

Я понял, что машина остановилась, когда около нее начало мелькать белое пятно от электрического фонарика. Я догадался: люди вышли из кабины и осматривают колеса и яму, в которую они провалились.

Вопрос теперь решался просто: кто скорее? Я скорее добреду до машины, или машина тронется с места? Иногда мотор начинал рычать усиленно и надрывно, даже стон и свист слышались в его рычании. У меня обрывалось сердце: сейчас пойдет, выкарабкается из ямы! Но рычание стихло, снова замелькал фонарик, и вскоре я стал различать силуэт машины, еще более темный, чем сама ночь.

Когда я добрел до автомобиля, людей около него уж не было. Вот уж снег из-под задних колес долетел до меня — так я приблизился к цели. Вот уж я вижу, как бешено крутятся колеса, стараясь зацепиться хоть за какую-нибудь опору, как дрожит деревянный кузов. Вот уж три метра от кончиков моих протянутых рук до заднего борта, вот уж два, вот уж один метр... Только бы теперь, в эту последнюю секунду, не дернулся, когда я почти ухватился за борт.

Идти три метра к кабине и спрашивать разрешения мне не под силу. Кое-как я нашарил ногой железный выступ пониже кузова, кое-как перевалил через высокий борт и мешком упал на дно. В эту же секунду автомобиль, зацепившись наконец за что-то, подпрыгнул и дернулся с места.

Застарелая колея, по которой пробирался автомобиль, проходила в четырех километрах от моего дома. Значит, мне надо было уследить момент, выбрать самую близкую к дому точку дороги, чтобы выпрыгнуть из кузова и идти дальше. Но как только я лег на дно кузова, как только почувствовал, что не нужно больше шагать и вообще двигаться, так и задремал. Сколько я дремал, неизвестно. Очнулся же от толчка. Мне показалось, что темные силуэты изб и ветел рядом с дорогой знакомы, что это и есть то самое село, возле которого мне надо выпрыгнуть из кузова: отсюда до моего дома четыре километра. Перевалившись через задний борт, я опустил руки и упал в снег. Грузовик сразу растворился в метельной темноте. Люди в кабине так и не знают, что подвезли случайного попутчика, больше того, не дали ему замерзнуть.

Приглядевшись к избам и деревьям, к порядку домов, я понял, что грузовик либо увез меня дальше, чем мне нужно, либо куда-нибудь в сторону, потому что деревня, в которой я очутился, была мне совершенно незнакома. Значит, не было у меня выхода, как стучаться в одно из черных окон в надежде, что затеплится оно красноватым огоньком коптилки, и проситься переночевать.

Все избы были мне одинаково незнакомы, все они были для меня чужие, но я зачем-то брел некоторое время вдоль деревни, как бы выбирая, в какую избу постучаться, и неизвестно почему свернул к одной из изб (ничем она не отличалась от остальных, разве что была похуже). Есть, должно быть, у каждой из русских изб эдакое свое «выражение лица», которое может быть либо суровым, либо жалким, либо добрым, либо печальным. Наверное, этим-то подспудным я и руководствовался, выбирая, в какое окно постучать. А может быть, просто понадобилось некоторое время, чтобы собраться с духом и окончательно утвердиться в мысли, что стучать придется неизбежно, так лучше уж не тянуть.

Сначала я постучал в дверь на крыльце, потом, осмелев, потюкал ноготком по морозному стеклу окна. Сквозь двойные рамы не доходило мое тюканье до нутра избяного тепла, а может быть, сливалось с шумом ветра и с разными метельными звуками. Тогда я начал стучать сгибом пальца, и вскоре что-то в глубине дома сдвинулось, скрипнуло, вздохнуло, и голос совсем близко от меня за дверью спросил:

— Вам кого?

— Переночевать бы мне, с дороги сбился, а метель.

— Эко чего придумал! Могу ли я, одинокая баба, мужика ночевать пустить?

— Да не мужик я, ну, вроде бы... одним словом, студент.

— Откуда идешь-то?

— Из Владимира.

— Чай, не из самого Владимира пешком?

— То-то из самого.

Было слышно, что женщина за дверью с трудом вытаскивает деревянный засов из петель, двигает его из стороны в сторону, чтобы скорее вытащить.

Душное избяное тепло, как только я вдохнул его несколько раз, опьянило меня, сразу разморило. Я сидел на лавке, не в силах пошевелиться, и блаженно озирался по сторонам.

Женщина (ей на вид было лет пятьдесят, пятьдесят пять, значит, надо считать, что около сорока) достала с печи валенки, а из печки, погремев ухватом, — небольшой чугунок.

— Щи на обед варила. Да теперь уж, чай, остыли, чуть тепленькие.

Сбывалось все, точь-в-точь как представлялось мне, когда я шел еще рядом с незнакомым мужиком! И ломоть хлеба оказался таким же толстым и тяжелым, каким я и



9 Первое испытание

ощущал, когда его еще не только не было в моей руке, но и не было никакой надежды на то, что он будет.

Я ел, а тетя Маша (так звали женщину) смотрела на меня, сидя напротив, думая о своем.

— Сколько исполнилось-то? — наконец спросила она.

— Семнадцать.

— Значит, на будущий год, если она не кончится, и тебе туда?

Потом тетя Маша помолчала, как бы решая про себя, говорить ли дальше или уж не говорить, и стала рассказывать. Она рассказывала, а я слушал, закурив после ужина (остался табачок от сына, именно от того самого, про которого она теперь рассказывала). И шли минуты, и шли часы, и проходила за окном метельная военная ночь... И проходила тут жизнь русской женщины, тети Маши, впустившей меня среди ночи и теперь рассказывающей, рассказывающей, рассказывающей...

Значит, не было случая до этого, чтобы рассказать и облегчить душу. Значит, также я показался ей благодарным слушателем, а то ведь бывает, и просится из души, а передать это человеку нет никакого желания. И то правда, единственно, чем я мог ответить тете Маше на ее приют и доброту, было мое благодарное слушание.

Она рассказала, что сначала от сына не было никаких вестей, а потом пришло письмо, и писано оно было чужой рукой. Писал Митя о том, что лежит в госпитале в Москве, и звал ее повидаться.

Главная часть рассказа тети Маши состояла из подробного описания всех преград, которые встали перед ней на пути к Москве и которые она по очереди преодолевала. Не так-то просто было попасть в Москву осенью сорок первого года, когда Москва была почти что осажденным городом. Если бы я в то время мог записать эту ее дорогу, а теперь только чуть-чуть подправить, то это была бы целая повесть и не нужно было бы ничего добавлять.

В Москву она все-таки прошла и Митю в госпитале отыскала. Он оказался раненый и, кроме того, весь обмороженный. Тетя Маша как на него взглянула, так сразу поняла, что не жилец. Села возле него, хотела хоть ночь, хоть семь ночей, а просидеть рядом. Ведь и сто просидишь, если последний сын и ночи его тоже последние...

Но сидеть не пришлось: очень уж Митя просил молочка. Он, оказывается, был большой любитель молока и в мирное время в покос или в жнитво выпивал сразу по крынке. И парное тоже любил. С детства еще приучился, чтобы прямо из подойника — кружку молока: «Большая была кружка у нас...» Тут тетя Маша даже принесла эту кружку с кухоньки, чтобы я мог посмотреть, какая она. Кружка была алюминиевая, во многих местах помятая. Может статься, Митя еще мальчонкой играл с ней или, по крайней мере, часто ронял.

Уж если мать сумела добраться до Москвы и даже пройти в саму Москву, то, наверное, она сумела бы достать раненому сыну молока, если бы это было возможно. Но не было молока в Москве поздней осенью сорок первого года. Тетя Маша решила ехать за молоком в свою деревню.

Тут она опять подробно рассказала мне о всех дорожных приключениях: и когда ехала из Москвы в деревню, и когда везла Мите бидон самого жирного коровьего молока. «Я и больше бы захватила. Не испортилось бы. Да в чем же его повезешь?»

Тетя Маша замолчала надолго. И я, оказывается, не ошибся, спросив ее тихим голосом:

— Ну и что же, успел он попить-то или уж не успел?

— Успел, — ответила тетя Маша.

Постлано мне было на печке. Вскоре сквозь подстилку (старый тулуп и байковое одеялишко поверх него) стало доходить до тела устойчивое, ровное тепло кирпичей. Засыпая, я думал: вот шел я вдоль деревни, и все избы

были для меня одинаковые. А что затаилось в них, за ветхими бревнами, за черными стеклами окон, что за люди, что за думы — неизвестно. Вот приоткрылась дверь в одну избу, и оказалось, что живет в ней тетя Маша со своим великим и свежим горем. И уж нет у нее мужа, нет сыновей и, надо полагать, не будет. Значит, так и поплывет она через море жизни одна в своей низкой деревенской избе. И остались ей одни воспоминания. Единственная надежда на то, что особенно вспоминать будет некогда: надо ведь и работать.

Если бы я постучал не в эту избу, а в другую, то, наверное, открыла бы мне не тетя Маша, а тетя Пелагея, или тетя Анна, или тетя Груша. Но у любой из них было бы по своему такому же горю. Это было бы точно так же, как если бы я очутился в другой деревне, четвертой, пятой, в другой даже области, даже за Уральским хребтом, в Сибири, по всей метельной необъятной Руси.

...Утром я без особых приключений добрался до родительского дома. Мать испекла мне большой круглый каравай заварного хлеба. Он от обычного черного хлеба отличался тем, что заметно сластит и немного пахнет солодом.

Переночевав дома ночь, положив драгоценный каравай в заплечный мешок, я отправился обратно во Владимир к своим друзьям по студеному, голодному общежитию.

Оказывается, виновата была не одна только метель, не одно только то обстоятельство, что я из Владимира вышел, не поев как следует, и потому быстро обессилел. Оказывается, сами по себе сорок пять километров зимней дороги — нелегкое дело. Когда я прошел двадцать пять километров и вышел на асфальтированный большак и, таким образом, идти мне оставалось двадцать километров, я был почти в таком же состоянии, как и в позапрошлую ночь в метель, когда, если бы не случайный грузовик, замерзать бы мне среди снежного поля.



Кроме того, я, должно быть, простудился за эти два дня, и теперь начиналась болезнь. Мне сделалось все безразлично. Какое бы интересное дело, ожидающее меня в будущем, ни вспомнилось, мне казалось оно теперь совсем неинтересным и скучным: не хочу летом купаться в реке, не хочу ходить на рыбалку, не хочу читать книги, не хочу в лесу жечь костер, не хочу ходить в кино и есть мороженое, безразлично мне даже, есть ли на свете Оксана, самая красивая со всего нашего курса синеглазая девчонка. Я давно заметил за собой, что, если у меня пропадает интерес ко всему на свете, значит, я начинаю хворать.

Пройдя по асфальту километр, я почувствовал себя совсем плохо и стал поднимать руку тем редким, можно сказать, редчайшим грузовикам, которые время от времени догоняли меня. Некоторое развлечение состояло в том, чтобы считать эти проходящие грузовики и загадывать, который же из них возьмет меня с собой.

Остановился седьмой грузовик (к этому времени я пробрел еще три километра).

— Ну, куда тебе? — грозно спросил шофер, выйдя из кабины: — Спирт есть?

— Нету, какой может быть спирт?

— Табак, папиросы?

— Нету.

— Сало? Э, да что с тобой разговаривать! — Он пошел в кабину. Угрожающе зарычал мотор.

— Дяденька, дяденька, не уезжайте! У меня хлеб есть, заварной, сладкий. Сегодня утром мать испекла.

Мотор перестал рычать.

— Покажи.

Я достал из мешка большой тяжелый каравай в надежде, что шофер отрежет от него часть и за это довезет до Владимира.

— Это другое дело, полезай в кузов.

Каравай вместе с шофером исчез в кабине грузовика. Надо ли говорить, что больше я не видел своего каравая. Но, видимо, болезнь крепко захватила меня, если и само исчезновение каравая, ради которого я перенес такие муки, было мне сейчас безразлично...

Ничего не изменилось в общежитии за эти два дня. Как будто прошло не два дня, а две минуты. Ребята оживились, увидев меня, но тут же поняли, что мне не по себе. Я разделся, залез в ледяное нутро постели и только попросил друзей, чтобы они истопили печку и принесли бы из титана кипятку.

— Комендант запер чердак на пудовый замок (эта новость была самой неприятной, потому что я все никак не мог согреться), а кипятку сколько хочешь. Только вот с чем его?.. Да ты из дому-то неужели ничего не принес?

Тогда я рассказал им, как было дело.

— А не был ли похож этот шофер на нашего Мишку Елисеева? — спросил Володька Пономарев.

— Был, — удивился я, вспоминая круглую красную харю шофера с маленькими синими глазками. — А ты как узнал?

— Да нет, я пошутил. Просто все хапуги и жадюги должны же чем-нибудь быть похожи друг на друга.

— Так ты, что же, так ничего и не ел целый день? — вдруг догадался Генка Перов. — Хоть бы краюху отломил от того каравая.

— Каравай-то я вам нес: думал, обрадую. Сейчас бы разрезали его на куски. С кипятком...

Тут в комнате появился Мишка Елисеев.

— Слушай, — обратились к нему ребята. — Видишь, захворал человек. Дал бы ему чего-нибудь поесть. Не убыло бы.

Никто не ждал, что Мишку взорвет таким образом: он вдруг начал кричать, наступая то на одного, то на другого. Было видно, что при крике у него изо рта вылетают

брызги слюны, и это мне, лежащему в ознобе, было почему-то противнее всего.

— А вы что, проверяли мою-то еду? У меня что, амбары с едой? Я тоже, как вы, мне на хлебную карточку тоже четыреста граммов дают. Ишь вы, какие ловкие в чужую суму глядеть! Нет у меня ничего в тумбочке, можете проверить. Разрешается.

При этом он, как мне показалось, успел метнуть хитрый лучик на свой тяжелый железный замок.

Напряженность всех этих дней, усталость, мужик, не позвавший меня ночевать, грузовик, проехавший мимо, горе одинокой и доброй тети Маши, сердоболие, которое вложила мать в единственный каравай заварного хлеба (и думает, что я его буду есть теперь целую неделю), бесцеремонность, с которой у меня взяли этот каравай, огорчение, что не принес его в общежитие, заботы ребят, хотевших покормить меня из Мишкиных запасов, его хитрая бесстыдная ложь — все это вдруг начало медленно клубиться во мне, как клубится, делаясь все темнее и зловещее, июльская грозовая туча. Клубы росли, расширялись, подступали горечью к горлу, застилали глаза и вдруг ударили снизу в мозг темной непонятной волной.

— А вот я и проверю!.. — твердо, как мне показалось, сказал я, поднимаясь с койки и путаясь ногами в сбившемся одеяле.

Говорили мне потом, что я спокойно подошел к печке, спокойно взял клюшку, которой мы крушили обычно тумбочки, и двинулся к Мишке. Мишка сначала метнулся, чтобы загородить свою тумбочку, но, значит, свиреп был мой решительный вид, если все же он уступил мне дорогу и даже отскочил к двери.

Остальное я помню хорошо. Привычным жестом наклонил я тумбочку наискось (отметив про себя, что тяжелая, не в пример тем, с чердака) и опустил клюшку на нужное место.

О, сладость бунта! О, треск и скрежет лопающихся скреп в душе и в мире! Разве дело в размерах? Дело в сути ощущения и чувств. Это была моя Бастилия и те засовы на тех воротах, которые придется еще когда-нибудь разбивать.

Я поднял клюшку и раз и два, и вот уже обнажилось сокровенное нутро «амбара»: покатилась стеклянная банка со сливочным маслом, кусочками рассыпался белый-белый сахар, сверточки побольше и поменьше полетели в разные стороны, на дне под свертками показался хлеб.

— Все это съесть, а тумбочку сжечь в печке, — будто бы распорядился я, прежде чем снова укрыться легоньким одеялом. Самому мне есть не хотелось, и даже поташнивало. Впрочем, скоро я забылся, потому что болезнь вошла в полную силу.

Мишка никому не пожаловался, но жить в нашей комнате больше не стал. Его замок долго валялся около печки как совсем ненужный и бесполезный предмет. Потом его унес комендант общежития.



ЗУБ МУДРОСТИ

(Отрывок из повести)

За кедрачами дорога круто вздымается на увал, петлянув по островерхой сопке, зигзагом опускается к небольшой речушке Блудной. Бурная, стремительная, она встает на пути.

— Ого! — восклицает Ванюшка.

Блудная разлилась, мутно-коричневая, громкоголосая, выпирает из берегов, облизав прибрежные тальники, заползает на полотно дороги.

— Ну и ну! — Ванюшка по знакомой талине старает-

ся прикинуть, на сколько прибыла река. Пожалуй, на полметра, если судить по тому, что вода касается нижних ветвей кустарника.

— Вот беда! — восклицает Ванюшка, нахлобучивая на лоб кепку, чтобы не слепило солнце, затем, немного подумав, снимает сапоги, портянки, потом, еще подумав, брюки.

— Интересно, холодная или нет? — соображает он, пробуя воду большим пальцем ноги. — Холодноватая, черт возьми! Впрочем, они все холодноватые, эти горные речушки! Все!

Нащупывая пальцами неровности дна, Ванюшка медленно входит в воду. Она обжигает ноги. Вода кажется холоднее оттого, что ожесточенно палит полдневное раскаленное солнце. Но постепенно ноги привыкают к холоду.

Как слепой, вытянув вперед руки, нащупывая дно, идет по Блудной Ванюшка. Вода поднимается выше колен, потом река мельчает: середина позади. Течение валит с ног, так хватает за икры, что чудится — их сжимают пальцами. Под ступнями скользят катыши-камни, режут кожу осколки гранита.

Прежде чем вернуться к машине, Ванюшка опять забредает вглубь, указательным пальцем прижимает на ноге то место, до которого дошла вода. Палец он не отпускает, старательно придерживая его, идет к машине. Став рядом с колесом, отмечает на нем глубину.

— Тю-тю! — вытягивает губы Ванюшка. — Так, пожалуй, и выхлопную трубу захлестнет! А что, запросто захлестнет! Скажи, захлестнет или нет? — подозрительно прищуриваясь, спрашивает он машину. — Не знаешь! Вот и я не знаю...

От отметки на ноге до отверстия выхлопной трубы сантиметра три-четыре, Ванюшка мрачнеет.

— Если наклонишься, чуть пойдешь боком, что произойдет? Захлебнешься! — говорит он, грозя пальцем выхлопной трубе. — Что же делать? — вслух размышляет он.

Ванюшка колебался бы дольше, если бы не заметил на песке свежие следы шин. Судя по протектору, по ширине колеи и скатов, через Блудную часа два-три назад прошла такая же машина, как у него.

— Что же мы имеем перед собой? — машину и себя спрашивает Ванюшка.

Подпрыгивая на камнях, Блудная спускается с сопки, полого уходит в распадок. Река потому и называется Блудной, что блудит, виляет меж сопками, быстрая и неспокойная. Места дикие, безлюдные; буреломистая тайга громоздится на сопках. «Засяду — помощи не жди! — мелькает мысль. — Река эта такая невежливая...»

Ванюшка осторожно сводит машину в реку. Как только колеса окунаются, он прибавляет газу — журчит, пенится, ревет вода. Брызги вздымаются стеной, солнце зажигает в них многоцветную радугу. Ванюшка не видит, что делается под машиной, он лишь представляет, как вода заливает диски колес, доходит до тормозного барабана, затем поднимается к выхлопной трубе. Это опасно.

Когда под машиной слышен негромкий всхлип воды, которую будоражит выхлоп, Ванюшка до отказа выжимает акселератор, чтобы на большой скорости выскочить на крутой берег.

«Ваа-а-ай!» — ревет машина. Она, подпрыгивая, мнет, раздвигает в стороны воду, тугие, толстые струи двумя веерами поднимаются вверх, отчего автомобиль оказывается как бы в коридорчике. Ванюшке больно слушать надсадный вой машины, видеть, как она напрягает силы, старается отбросить воду, чтобы быть свободной, способной к полету.

— Давай, милая, давай! — умоляюще, с верой в машину шепчет Ванюшка.

Автомобиль медленно движется вперед, упрямо наклонив радиатор, и Ванюшка тоже наклоняется вперед, втягивает шею в плечи, напружинивается, как перед прыжком; он даже раскачивается взад и вперед, чтобы помочь этим машине.

— Ну еще немного, ну капельку! — умоляет он.

Громко, захлебываясь, ревет под выхлопом вода: глушитель совсем погрузился в нее.

— Еще немножко! — вдруг свирепо кричит на автомобиль Ванюшка.

Машина проходит метр, второй, прошла бы третий, но из-под капота вдруг цевкой брызгает вода, раздается такой звук, словно мотор подавился, захлебнулся. Сразу Ванюшка не может сообразить, что произошло — почему под капотом вода, почему она бьет вверх. На мгновение он теряется и только поэтому не отпускает ногой акселератор, и машина продолжает двигаться. В следующее мгновение он понимает, что воду на капот гонит вентилятор охлаждения, но машина еще минует самое глубокое место.

— Молодец, милая, молодец! — кричит Ванюшка, готовый обнять машину. — Молодец, товарищ машина!

Как раз в эту секунду автомобиль наклоняется, вздрагивает и, прежде чем Ванюшка успевает перекинуть рычаги, останавливается. В тишине победно, обрадованно ревет Блудная.

— Яма! — догадывается Ванюшка.

Он резко нажимает на стартер, затаив дыхание, ждет, когда мотор вздрогнет. Сильный аккумулятор проворачивает поршни, сквозь рев воды раздается неуверенное биение первых тактов. По-прежнему не дыша, боясь, что мотор заглохнет, он осторожно прибавляет обороты.

— Поехала, поехала! — морщится от жалости к машине Ванюшка.

Автомобиль судорожно цепляется за песчаное дно колесами, силится оторваться от песка, покачивается, как человек с зубной болью. «Ой-уй-оу!» — ревет мотор. А у Ванюшки вдруг холодеет в груди: стараясь выбраться, машина с каждым мгновением все глубже и глубже зарывается в песок. Он протягивает руку, чтобы выключить зажигание, но не успевает: утробно всхлипнув, машина останавливается сама.

С ног до головы мокрый, Ванюшка стоит на крыле машины. С него струйками льется вода, смешанная с песком. Подождав, чуточку обсохнув, он забирается в кабину, чтобы обдумать положение.

Две-три минуты прошло с тех пор, как забуксовала машина, но в мире все переменилось: и солнце светит не так ярко, и тайга не веселая и праздничная, как была раньше, и Блудная не кажется живописной, причудливой рекой. Совсем другой, незнакомой стала машина. Где легкость, подвижность, крылатость Ванюшкиного автомобиля? Тяжелый, насупленный и мертвый, стоит он в холодной воде.

Фары машины, точно потеками слез, облиты грязной жижей, колеса тупо упираются в воду. Погруженный в реку автомобиль кажется обрубком металла. Кургузый, жалкий, несчастный обрубок.

Сгорбившись, Ванюшка сидит на горячем сиденье. Шум неистовой Блудной как бы углубляет, подчеркивает тишину распадка, тишина звенит в ушах, тревожит, как иногда тревожит непонятный, разнобойный шум... Итак, нужно все обдумать.

Разных шоферов знал Ванюшка, и все, забуксовав, по-разному вели себя. Одни, обозлившись, негодовали,

бросались, как в драку, на машину, чтобы натиском, злой энергией выдернуть из земли или воды; другие отчаивались, схватившись руками за голову, стонали от огорчения; третьи терпеливо, скучно, борясь с ленью, превозмогая нежелание работать, возились с машиной. Все это не подходит Ванюшке. Он вспоминает, как поступал с забуксовавшим трактором отец.

После нескольких безуспешных попыток выбраться из грязи отец выходил из кабины, садился на сухое местечко. Он любопытно, осуждающе глядел на трактор: «Просили же тебя засесть!», не спеша курил, смачно пускал дым и крепко чесал пальцами седой висок. С каждой затяжкой самосадом отец веселел — наливались насмешливой влагой светлые глаза, морщился нос, в лукавой хитринке кривились крупные губы. Наконец он, улыбнувшись, говорил Ванюшке поучительно: «Смотри, в этой холерине, в этой тракторюге, восемьдесят лошадиных сил, а он сидит как ползунок на горшке — ни встать, ни пойти! Ослаб этот холерный тракторюга!» Когда Ванюшка соглашался, что трактор действительно, видимо, ослаб, отец снисходительно бросал: «Я его вытащу! Вытащу, хоть во мне и четверти лошадиной силы нет!»

Отец вытаскивал трактор из грязи так ловко, с таким изощренным изобретательством, что Ванюшка замирал от восторга, а отец по-детски, взахлеб смеялся: «Ну скажи, тракторюга, у кого больше сил — у тебя или у меня?»

Вспомнив отца, его лукавую улыбку, привычные жесты, Ванюшка, ни секунды не раздумывая, выскакивает из кабины в воду, раздвигая ее крепкими, мускулистыми бедрами, выбирается на берег.

— Ну, батька, ну, батька! — любовно шепчет Ванюшка.

Через пять минут план готов: он поддомкратит задние колеса, натаскает под них камней, машина встанет на твердую основу, он рывком подаст ее вперед и выберется

из ямы. Вот и все, хотя придется труднехонько, домкратить в воде машину — это не пироги с морковкой есть.

— Сколько у вас лошадиных сил? — спрашивает Ванюшка машину. — Благодарю! А у меня и четверти силы нет! Однако, пожалуйста, бриться, товарищ машинюга...

Ванюшка идет к автомобилю, достает домкрат, вороток, гаечный ключ. Старательно протерев запылившийся инструмент, осматривает задние колеса, которые сидят значительно ниже, чем передние. Они почти целиком ушли в воду, так что видна только черная блестящая кромка.

— Неприятность! — восклицает Ванюшка, потому что, качая домкрат, ему придется с головой погружаться в воду.

— Водолазом заделаюсь! — решает он.

Поставив домкрат на дно, он набирает в грудь как можно больше воздуха и опускается плечами и лицом в воду. Он, видимо, плохо рассчитывает движение — валится на бок, домкрат выскальзывает из рук. Вынырнув, Ванюшка хочет удивленно свистнуть, но вместо свиста изо рта пузырится вода.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! — говорит Ванюшка.

Следующее погружение в воду он рассчитывает лучше — удается поставить домкрат, сделать несколько качков воротком. Вынырнув, он дрожит от холода, дышит тяжело.

— Ванюшка, ты дурак! — вдруг убежденно говорит он и снимает с руки новенькие часы «Победа».

Часы стоят.

— Ванюшка, ты дурак и чучело! — повторяет он. Подумав, снова надевает часы на руку. «Потом вылью воду, разберусь, что к чему».

Во время следующего нырка Ванюшка делает десять

качаний воротком, мысленно ругая себя за то, что не сделал отметку на колесе, по которой можно было бы узнать, поднимается оно из воды или нет. Поэтому во время очередного отдыха он прочерчивает ногтем на резине тоненькую риску. Затем делает еще десять качаний. Дальше домкрат не идет.

— Тьфу! — выхаркивает воду Ванюшка. Несколько секунд он дышит так тяжело, как дышит рыба, выброшенная на берег. Открыв слипшиеся веки, он глядит на черточку — она и не думала подниматься.

— Домкрат уходит в дно! — догадывается он.

Пьяной походкой, борясь с осатаневшим течением, выходит на берег, поеживаясь от холода и острой боли в ногах, идет искать плоские камни, которые можно было бы подложить под домкрат. Как назло, хороших камней не видно. Попадаются круглые и овальные, слишком большие и слишком маленькие. Он все дальше поднимается на сопку и вдруг мычит от острой боли: в палец левой ноги впивается осколок камня. Вытащив его и послюнив ранку, Ванюшка невольно оглядывается, и его вновь поражает вид окружающего. Горы, сопки перед горами, сосняк за сопками, река кажутся не такими, какими они бывают обычно. Дремотно-тяжелое, неприятное, притаившееся живет вокруг Ванюшки, и непонятно, почему оно такое. Сумрак кедрача кажется жутковатым, полным опасностей, изгиб Блудной — коварным, сопки полны пугающих неожиданностей.

С кручи машина кажется почти затонувшей: ни колес, ни крыльев не видно, представляется, что вода подбирается к мешкам с сахаром. Машина грязна, понура. У Ванюшки щемит сердце, словно не машина, а сам он мокнет в холодной речке, намертво прикованный ко дну. Некоторое время он неотрывно глядит на машину, затем встряхивает головой, как будто отмахивается от липкого, неприятного.

— У тебя сколько сил... А у меня! — говорит он тихо, невнятно. Перед глазами встает серый, унылый человек — невидимый противник, с которым Ванюшка спорит, когда бывает тяжело. Тускло-свинцовыми глазами серый человек смотрит на него, недобро усмехается: «Вот она, шоферская жизнь». Еще раз упрямо мотнув головой, Ванюшка громко, веселее повторяет: — У тебя сколько сил... А у меня!

Невидимый противник исчезает.

Ванюшка бегом поднимается по склону сопки, не сразу, но находит два плоских камня, потом — еще три.

— Попались! — торжествует он, хотя торжествовать рано: один камень он снесет вниз легко, а два — нет. Значит, придется подниматься на гору четырежды. «Ничего! Погуляю!» — думает Ванюшка, взваливая на голое плечо камень. Он уносит его, кладет на берегу, погрозив пальцем автомобилю:

— Вот обожди! Притащу четыре, тогда узнаешь, что будет!

Он притаскивает еще камень, хочет пойти за третьим, как обращает внимание на то, что в наклоне машины есть какая-то перемена. Неуловимая еще, но он уже твердо уверен, что с машиной произошло неладное, хотя внешне как будто ничего не изменилось. Просто у него такое ощущение, словно машина сделалась еще более жалкой, несчастной. Ванюшке мерещится, что машина зовет его на помощь.

— Глупость! — говорит он, стараясь успокоить себя, но не успокаивается, а стремглав сбегает с кручи. Ему вдруг кажется, что машина позвала его тревожным, испуганным голосом: «Иди на помощь, Ванюшка!»

— Что случилось? — спрашивает он. Рядом с машиной Ванюшка теряет ощущение, что с автомобилем произошло неприятное. Потом он догадывается, что нужно посмотреть на черточку, проведенную ногтем.



Черточки не видно. Да что черточки — задних колес не видно, точно их не было.

— Вот это дело! — раздельно по слогам произносит Ванюшка.

Машина медленно-медленно погружается: вода вымывает песок из-под колес, выхватывает песчинку за песчинкой.

Ванюшка на миг представляет: машина уходит в воду все глубже и глубже; уже нет передних колес, потом крыльев, мотора, кабины. Нет ничего — бурливая река несется поверх автомобиля.

Ванюшка до крови закусывает губу, трясет головой, чтобы отогнать ужасное видение.

Что делать, как бороться с песком? Как паук в паутину, затягивает он теплый металл, не успевшее остыть тело его машины. Ванюшка один на один с быстрой горной рекой. Дикие, могучие силы природы и девятнадцатилетний юноша. Ни души человеческой вокруг. Замер, полег на землю табун лошадей, заключенный в моторе, не помощник теперь машина, а несчастное существо, нуждающееся в помощи.

Ванюшка одинехонек на берегу быстрой Блудной.

Жадно чмокая волной, река засасывает автомобиль; насмешливые блики несутся по реке, дразнят наглыми зайчиками, ехидно подмигивают: «Моем-моем! Мы сильны, нас много!» Из насмешливых наглых зайчиков внезапно выглядывает серое, скучное лицо невидимого противника, подморгнув, оскаливает зубы: «Ну как! Хороша твоя жизнь, Иван Чепрасов? Что теперь скажешь?»

Ванюшка вздрагивает, словно его наотмашь полоснули тонким бичом. Сколько времени он стоит в неподвижности? Час, полчаса... Нет, всего несколько секунд, с его руки еще стекают холодные капли воды. Значит, всего

несколько секунд длились воспоминания, растерянность; значит, ничего страшного не произошло, ибо самый страшный враг Ванюшки сейчас не река, не песок, а время. Оно враг!

Ванюшка хватает камень, обдирая ногти, взваливает на плечо, бросается в реку. Он не чувствует ни холода, ни уколов в подошвы, ни тяжести камня; ничего не чувствует, не видит Ванюшка, реально в мире одно — машину засасывает песок.

Набрав воздуха, он ныряет в воду, кладет камень, на него ставит домкрат и, стараясь не думать об остальных трех колесах, качает вороток. Как секунды, считает про себя качки: «Раз, два, три...» На семнадцатом воздуха не хватает, но он не выныривает, досчитывает до двадцати, решает прибавить еще пять, но резкая боль в легких выбрасывает его на поверхность.

Колесо по-прежнему скрыто водой, поднялось ли оно хоть немного, узнать невозможно — черточка скрыта.

— Не унывать! — приказывает себе Ванюшка.

Когда стержень домкрата кончается, Ванюшка выныривает нарочито медленно, заранее уговаривает себя: «Ну и пусть подалась мало, что из этого! Буду еще подкладывать камни!»

— Так! — громко произносит Ванюшка.

Поддомкраченное колесо — на прежнем месте. Камень под давлением домкрата уходит в песок.

— Нужен другой камень! — говорит реке Ванюшка. — Я знаю, где есть такие камни... Я видел такие камни! — упрямо продолжает он. — Я знаю! Я видел! Я видел! Я принесу эти камни, принесу! — взмахивает он обеими руками.

Поднявшись на вершину сопки, Ванюшка понимает, что большие плоские камни одному не взвалить на спину. Придется катить их.

— Ты молодец, гора! — с вызовом, обращенным к ре-

ке, хвалит сопку Ванюшка. — Ты поможешь катить камни.

Камень поворачивается тяжело, медленно, а время начинает бежать с бешеной скоростью. Часы стоят, поэтому Ванюшка никак не может убедить себя в том, что время движется обычно — в минуте столько же секунд, сколько и было, а в часе не стало больше минут. Ему представляется, что он больше часа катит камень до берега Блудной. Пальцы кровоточат, ноги — в царапинах, песок и пот покрывают тело.

Ванюшка не смотрит на машину. Не смотрит потому, что боится увидеть, что она еще больше погрузилась в воду. Не поднимая головы, он закатывает камень под задние колеса, хочет разогнуться, чтобы хватить свежего воздуха, но больно ударяется головой о кузов.

— Сахар! Сахар! — замирая, шепчет Ванюшка.

Через пять-десять минут волна лизнет кузов, ворвется под доски, проникнет в мешки с сахаром...

Время для Ванюшки сливается в сплошное ощущение тяжести, боли в ногах, в пояснице. Путь от машины до берега состоит из трех неравноценных отрезков — трудного у машины, когда его, нагруженного мешком, валит с ног вода; легкого, когда он шагает в десяти метрах от машины, и самого тяжелого, когда он, изнеможенный, делает последние метры. Он не проходит их, а бежит под тяжестью мешка и обессиленно падает на землю.

Мысли, как вата, которой набили голову. Думает он разрозненными словами, клочками мыслей: «В мешке семьдесят килограммов... Если надеть сапоги, ноги не будет резать, боль прекратится, но в них невозможно работать. Сапоги наполнятся водой... Килограмм сахара стоит девяносто четыре копейки... Где-то я читал, что ребятишки без сахара плохо растут... Анка не любит сахар-песок, а рафинад она грызет с хрустом. Зубы у нее белые-бе-

лые... Лопну, надсажусь, а сахар вытаскаю... В клубе сегодня идет «Люди на мосту»...

Время сосредоточивается, концентрируется в мешках с сахаром, которые как бы становятся мерой секунд и минут.

Чем больше устает Ванюшка, тем длиннее кажется путь от кузова до берега, тем бездумнее работает он. В бездумии — облегчение, так как для мыслей нужна энергия, которую он бережет. Мыслей нет, а вместо них в голове гвоздем сидит твердая убежденность в том, что сахар нужно спасти. Перед этим затушевывается все, даже боль, даже страх за машину, которую по-прежнему засасывает река. Машина ему в этот миг представляется менее обиженной, жалкой, чем мешки с сахаром. Автомобиль, он все-таки живой, он все-таки оживет.

Ванюшка как-то вдруг обнаруживает, что мешки кончились. Это открытие неожиданно, но большой радости не приносит: слишком он устал, слишком ноют ноги и руки для того, чтобы радоваться. Он бегло оглядывает кучу мешков на берегу и, выпрямившись, вскидывает голову. Подобие улыбки появляется на черном, потном лице Ванюшки.

— Ого! — восклицает он и морщит нос.

Он стоит, выпрямившись, закинув голову. Поза у него гордая, взгляд — углубленно задумчивый, точно Ванюшка вглядывается внутрь самого себя. Кажется, он открыл что-то удивительное, нашел негаданно-радостное.

— Ого! — кричит Ванюшка.

Проходит усталость, спина перестает ныть, словно ее погладили теплым.

— А ты ничего... ты молодец, Ванюшка! — говорит он сам себе. — Ты, в общем-то, ничего!

Ванюшка доволен собой, так как он только теперь обнаружил, что перетаскивал мешки с сахаром на левый

берег Блудной. Значит, он никогда не терял уверенности в победе над рекой, не допускал мысли, что может вернуться назад.

Гордость за самого себя испытывает Ванюшка. «Вот ты какой!» — впервые в жизни думает он о себе, как о постороннем. Повеселевший, за несколько секунд отдохнувший, Ванюшка, как на штурм осажденного города, бросается на большой квадратный камень, подталкивает его под задний мост, ставит домкрат, набирает воздух в легкие, но останавливается...

— Погоди, товарищ машина, — широко открыв глаза, говорит Ванюшка. — Ты стала легче? А может быть, теперь охотнее пойдешь вверх?.. Не отвечаешь? Хорошо же!

Нырнув, качает домкрат — легко, споро. Как послушная лошадь ногу, автомобиль поднимает левое колесо. Докачавшись до звона в ушах, Ванюшка тяжело облокачивается на кузов.

— Ду-рак! Про-сто-филя! — меж прерывистыми вздохами говорит он. — Нужно было сразу облегчить машину!

— Дурак! — зло ругает себя Ванюшка, забывая о том, что вынести мешки с сахаром, справиться с такой работой, какую на складе выполняют два здоровенных грузчика, ему помогла боязнь за груз, тревожная мысль о том, что сахар погибнет.

— Вот так-то, товарищ машина! — обращается он к автомобилю и в этот момент думает о том, что он теперь знает, как поступать с машиной, когда она утопает в реке с тяжелым грузом. Теперь знает, а раньше, полчаса назад, не знал. Мысль о том, что знания приходят с годами, приобретаются так же тяжело, как сегодня в Блудной, поражает Ванюшку. «Ой-ой!» — шепчет он, сидя по горло в воде; в этот миг жизнь представляется непрерывной цепью узнавания неизвестного. В неоглядном, громадном пространстве его будущей жизни Ванюшка видит тысячи Блудных, тяжелых квадратных кам-

ней, миллионы ссадин и ран на руках и ногах; бессонные ночи, ломающую тело усталость. Впервые за свои девятнадцать лет он думает о жизни не как о голубом, солнечном течении дней, а как о днях труда, ошибок, открывания в себе неизвестного.

Не знал, не умел!.. «Сколько же этого во мне!» — тоскливо думает Ванюшка, щупая пальцем лоб таким движением, каким слепой человек ощупывает незнакомый предмет. Что есть под твердой лобной костью? Учебники семи классов, курсы шоферов, от силы сотня книг да шесть-семь лет жизни, когда он стал осмысленно относиться к окружающему. И все! Ужасно мало в его, Ванюшкином, лбу... Он многого не знает. Пугающая бездна незнания открывается черным провалом, в котором редко-редко блестят искорки, — это то, что он знает.

Ванюшке вдруг представляется, что он словно со стороны смотрит на самого себя — молодого, неопытного, знающего так мало, что знание кажется ничтожной пылинкой.

— Ох как трудно! — с болью произносит Ванюшка.

Он разжимает пальцы, подносит руку к глазам. На ладони песок. Из чего состоит он, почему так крепок? Ничего не знает о песке... Подняв голову, видит раннюю большую звезду. Почему она появляется раньше всех, почему свет ее ласков и мягок?.. Как запустили люди спутник Земли, что значит: орбита наклонена к плоскости эклиптики, или нет, не к эклиптике, а... К чему она наклонена? Господи боже мой, что это значит — эклиптика?

— Трудно, трудно! — тоскует Ванюшка.

Время опять то останавливается, то летит с небывалой скоростью — нет у него меры, кроме качков домкрата. Подняв одно колесо, Ванюшка снова идет на гору за большим камнем, скатывает вниз, домкратит левое колесо. Он торопится, горит от спешки и нетерпения. Совершенно

случайно Ванюшка замечает, что на небе нет солнца. Вечереет, прозрачная дымка стелется в низинах. Не меньше пяти часов возится он с машиной. Уже пришла с работы Анка, оканчивается семичасовой сеанс в поселковом клубе.

Встав задними колесами на два больших плоских камня, машина не проваливается в песок. Теперь на гору Ванюшка поднимается медленно, передыхая. Сразу наваливается вся боль, которой раньше он не чувствовал, — в ногах, в пальцах, в пояснице; горит кровоточащая ссадина на плече, огромный кровоподтек на колене.

Острым краешком выплывает из-за кедрачей прозрачный месяц, пыльным светом рассасывается по сопкам и распадку. Блудная похожа на поток струящегося олова. Сопки кажутся выросшими, громадными, а лощинка меж ними узкой, уменьшившейся.

Полчаса Ванюшка тратит на то, чтобы прикатить еще два камня, полчаса на то, чтобы поднять на них передние колеса, и только тогда облегченно вздыхает: автомобиль стоит на твердом. Ванюшка не торопится заводить мотор — обходит машину, притрагивается пальцами к мокрому дереву и металлу, словно хочет убедиться, что и металл и дерево на месте. Потом тяжело, устало садится в кабину, закрыв глаза, отдыхает. Голову он кладет на гладкую баранку.

Ванюшка набирается сил перед тем, как рвануть машину вперед. Автомобилю предстоит трудное испытание — поставленный на ограничитель, он должен сделать такой рывок, чтобы, опершись о четыре точки на камнях, махом выбраться из ямы. Несколько секунд будет длиться это, но все силы Ванюшка бросит на последний рывок.

Наконец Ванюшка стряхивает оцепенение. На широких скулах застывают желваки, глаза суживаются, кирпичный румянец стекает со щек. Жестким становится взгляд Ванюшки.

— Для тебя же, товарищ машина! — как бы оправдываясь, говорит он и надавливает ногой на стартер.

Машина заводится легко, охотно, словно давно уже истосковалась по работе, соскучилась по Ванюшкиным рукам и ногам. Услышав голос ожившей машины, Ванюшка суровеет, сильнее стискивает зубы. «Ты бы не так пела, машина, коли бы знала, что предстоит!» — думает он. Ванюшка напруживается, чтобы стремительно сделать три слитных движения — выжать сцепление, переключить рычаг скорости и дать самый полный газ. От этого машина должна вздрогнуть, как от удара, взревев бешеным голосом, рвануться на простор дороги.

— Ну давай! — говорит Ванюшка и почему-то вспоминает любимую песню отца: «Прокати нас, Петруша, на тракторе, до околицы нас прокати...»

— «Кулаки на тебя разобижены», — в полную силу поет он и неуловимо быстро перекидывает рычаги, жмет на газ.

Диким зверем воет машина. Что-то гремит, скрежещет металл, колеса разбрасывают воду, песок, камни. Просвечивающий в сероватом свете луны поднимается каскад брызг.

Проходит секунда, вторая, третья, сперва кажется, что машина неподвижна, но потом она резко дергается, делает рывок вперед.

— Давай! — кричит Ванюшка, раскачиваясь, чтобы движением своего тела помочь автомобилю. — Давай! Ну, давай!

Тишина наступает внезапно — кажется, что в машине обрывается, рвется с треском звонкий металл. Тишина ударяет Ванюшку мягким, но сильным кулаком.

Сорвавшись с камней, машина опустилась в ту же яму.

Ванюшка приходит в себя оттого, что кровоточащими пальцами вцепился в холодный вороток — железный

прут, которым он качает домкрат. Как попал он в руки, когда, Ванюшка не знает. Вывалившись из машины в воду, он в исступлении машет воротком, кричит машине, реке, сопкам:

— Что вы делаете? Что делаете?

Гнев охватывает его. Все, значит, напрасно: камни, мешки, опасный для машины рывок, напряжение нервов. Ванюшка широко замахивается и, облепленный ненавистью, наотмашь ударяет воротком по кузову. Дерево жалобно хрустит.

— Получай! — кричит Ванюшка.

И наступает отрезвление — рваная полоска на кузове притягивает, манит к себе Ванюшку; перекосив лицо, он смотрит на нее, борясь с течением, вплотную подходит к кузову, как незрячий, ощупывает ямку и вдруг, дергаясь всем телом, беззвучно плачет.

В его плаче — беспомощность перед Блудной, боль в теле, усталость перенапряженных нервов, жалость к машине, к себе, к мешкам сахара, сиротливо белеющим на берегу, к Анке, не спящей в темной комнате общежития, жалость к тому, что он один под темным небом с равнодушными звездами.

Он плачет оттого, что ему снова придется подниматься на колючую сопку, снова таскать камни, и теперь уже не четыре, а десять раз по четыре, чтобы вымостить дорогу до самого берега.

Багровое солнце поднимается над кедрачами, неярко освещает сопки, реку. Покачиваясь, медленно переступая подламывающимися ногами, Ванюшка идет по берегу, держа в руках камень. Когда лучи скользят по лицу, Ванюшка зажмуривается — в глазах вращаются разноцветные, расплывающиеся круги.

Скоро сутки, как Ванюшка ничего не ел. У него не хватает сил положить камень в воду, он бросает его.

Ванюшка испытывает горькое чувство недовольства собой, хочется наотмашь ударить себя.

Плакал, даже рыдал... Самое страшное, что Ванюшка подозревал это в себе. Он и раньше догадывался, что в нем мало мужества, выдержки, что он слабак. Читая книги о войне, Ванюшка примерял к себе поступки героев, думал, как поступил бы он, и испытывал холодок страха. Он боялся смертельного пике самолета капитана Гастелло, горячей амбразуры, на которую грудью шел Александр Матросов.

Ванюшка испытывал страх, хотя он только представлял опасность. Что будет испытывать он, если столкнется с настоящей опасностью? Струсит?.. У него замирает сердце. Покрасневший до пунцовости, Ванюшка прячет горячее лицо в холодную воду Блудной, но легче не становится.

— Неужели бы струсил, Ванюшка? — спрашивает он самого себя.

Никто не отвечает. Ревет Блудная, молчат розовые сопки, тайга, распадок.

И Ванюшка продолжает работать — таскает камни, укладывает их в реку, чтобы проложить по дну две дорожки от ямы до берега. Сколько их, этих камней, сосчитать трудно, наверное, миллион раз он поднимается и опускается с горы, миллион раз ныряет в Блудную.

Тугое время раскручивается длительными секундами, минутами, тяжестью труда, болью в ногах и пояснице. Как автомат снует Ванюшка от берега к реке. Он работает так же быстро и сноровисто, как работал прошедший день, ночь; он работает даже напряженнее, так как стыд за себя подгоняет сильнее, чем подгоняла радость, но ему кажется, что движения вялы, расслабленны.

— Вот я какой! — тоскливо думает о себе Ванюшка.

Ни радости, ни облегчения не испытывает он, когда каменистая дорога по дну Блудной достигает берега. По-

ложив последний камень, Ванюшка тяжело, медленно подходит к машине, берется за дверцу, хочет открыть ее, но вместо этого печально ссутуливается: на борту машины рваная рана от металлического воротка. Никакой краской не замазать ее. Можно переменить доску, но что это даст — разве забудет когда-нибудь Ванюшка о том, как полоснул машину воротком...

Замедленным движением Ванюшка давит ногой на стартер, слушает, как заводится мотор, выжимает сцепление. Рокотнув, машина напрягается, медленно движется вперед по двум дорожкам из камня. Ничто не задерживает ее в этом движении, и через несколько секунд передние колеса стоят на берегу реки, недалеко от мешков с сахаром.

Ванюшка расслабленно откидывается на спинку сиденья. Не хочется ни думать, ни двигаться, ни смотреть на белый свет. Он закрывает глаза. Тяжелые, дрожащие веки слипаются плотно, крепко, во тьме бешено вращаются разноцветные круги, затем исчезают, словно растворяются в голове, а на их место суетливо выскакивают серые квадратные камни — громоздятся, ворочаются, падают в воду. Потом и камней нет — бурная, клокочущая вода струится перед закрытыми глазами.

«Усну!» — думает Ванюшка и тяжело раскрывает веки. Оттолкнувшись рукой от руля, не выходит, а вываливается из кабины. Шаг его труден, замедлен, но он идет к мешкам, хватает ближний, взваливает его на спину. Спотыкаясь, несет к автомобилю, потом возвращается за следующим, потом еще за одним...

Проходит час.

Бросив в кузов последний мешок, Ванюшка ничком валится на теплую, согретую солнцем траву. Он едва успевает прикоснуться к ней лицом, как вспыхивает мысль: «Усну!» Опершись на ломкие, дрожащие руки, поднимается.

«Здорово ослаб!» — думает Ванюшка, стараясь вспомнить, что нужно делать в таких случаях. «Поесть!» — отвечает он сам себе.

В сереньком ситцевом мешочке он находит бутерброд с маслом, соленый огурец и большой кусок мяса, который Анка еще вчера — теперь уже позавчера — вынула из супа. Он запускает зубы в хлеб и вскрикивает от боли в скулах — их сводит судорогой. Потом боль проходит, во рту делается сладко от прилившей слюны — он жадно ест. Рвет зубами мясо, хрустит огурцом, отхватывает от бутерброда огромные куски. От еды наваливается тяжелая сонливость, расслабленность, но Ванюшка не может остановиться, все ест и ест, пока не чувствует во рту что-то мешающее.

Где-то у окончания челюсти чувствуется лишнее, постороннее. Прожевав кусок мяса, Ванюшка широко открывает рот, запускает в него пальцы и настораживается: за коренными зубами нащупывает острое, колющее, непривычное.

— Ум! — мычит Ванюшка, не понимая, что это такое.

Затем он ощупывает непонятное мизинцем и вдруг понимает, что маленькое, острое, колючее — новый зуб.

Это зуб мудрости, который вырастает у одних людей раньше, у других позже.

— Так, так! — негромко произносит Ванюшка, отодвигая еду, так как есть новым зубом ему кажется неловко, больно и как-то неудобно.

Движется он теперь не быстро и не тихо, не энергично и не расслабленно, а как-то средне. И самочувствие после еды у него среднее — не восторженное, не радостное, но и не печальное. На желудке теплее, во время еды он немного отдохнул, и потому легче бороться с сонливостью, которая у него тоже средняя, — хочется спать, но не так чтобы очень. И о себе Ванюшка теперь думает как-то средне — трус он, может быть, и не трус, а только

несколько трусоват; совсем слабым его не назовешь, но и крепости, особой силы в нем пока нет.

Ванюшка подходит к берегу Блудной, останавливается, оглядывает реку, сопки, крутой увал, с которого таскал камни. Он спокойно думает о том, что и сопки, и увал, и камни, и реки, и тайга теперь навечно останутся в его памяти, как останутся в памяти и царапина на борту автомобиля, и все то, что он увидел, услышал, продумал и понял за это длинное и тяжелое время. Он думает о том, что Блудная стала ему близкой, родной, а та жадность, которую он испытывает к природе, не только не прошла, но стала еще сильнее. Ему не хочется расставаться с рекой, но надо, так как его ждут тысячи Блудных, товарищи, Анка, работа. Машина тоже ждет его, терпеливая, притихшая. Обыкновенная, вообще-то, машина, на которой ему работать много лет.

И так же спокойно Ванюшка думает о том, о чем не хотел думать все эти длинные, тяжелые сутки: до соседней деревни всего шесть километров. Ванюшка знал это с самого начала, с того момента, когда попал в яму, но он гнал от себя мысль о близости деревни.

Несколько часов назад Ванюшка гордился бы собой, какой, дескать, он молодец, что справился сам. Теперь же думает только о том, что поступил правильно. Это трезвое, спокойное рассуждение. Ванюшке нужно было выбраться из реки самому. Это нужно было сделать для себя, для Анки, для машины. Ванюшка должен был выбраться потому, что видел перед собой скучного, пустоглазого, невидимого человека, с которым он будет внутренне спорить всю жизнь.

Спокойный, немного тяжеловесный, стоит Ванюшка на берегу Блудной. Потом идет к машине, тяжеловато-уверенно, но без лишней подчеркнутой четкости. Так ходят рабочие люди.

НАТАЛИЯ ЛОЙКО



ПАМЯТНОЕ ДЕЖУРСТВО

В роли палатной сестры я новичок. Ночная смена для меня покамест дело нелегкое. Не успеваешь присесть — компрессы, уколы, горчичники. Переходишь из палаты в палату, от койки к койке. Этого успокоишь, того приструнишь. Иных по списку назначений, угощаешь снотворным. А сколько понакапаешь в носы и в глаза...

Затем — никаких разговоров. Спать. Тишина.

Выключив электричество за всеми дверьми подряд, иду к своему посту. Где-где, а здесь неизменно светло, настольная лампа излучает молочно-матовое сияние. Мяг-

ко переливается кафель вокруг умывальника. Белеет шкафчик с медикаментами. Голубоватый стол, отделанный пластиком, приглашает к себе: пора заняться документацией.

Пора так пора. Выкладываю на табуретку взъерошенную бумажную кипу. «Истории болезни» самые разные. Аккуратные и потрепанные. Тоненькие и разбухшие. Одинаковые тем, что суть их скрыта от постороннего взгляда. Даже обложка, ее передняя прозрачная сторона, лишнего не расскажет — за ней всего лишь паспортные сведения. Главное содержание засекречено — осмотр врача, диагноз, лабораторные данные. В итоге это участь больного, и не все ему следует знать.

Сажусь, расстилаю на столе большие разграфленные листы. Сбоку ставлю бутылочку клея с натянутой на горлышко рыжей резиновой соской. Приспосабливаю лампу поудобней, приступаю к делам. Беру с табурета верхнюю из историй болезни, строго напоминаю себе, о чем нам твердят на планерках: внимание, четкость, точность.

Итак, «отрабатываю» температуру.

Справа от моего освещенного лампой стола — обширный холл, погруженный во тьму. В его углах угадываю контуры потухших торшеров. Различаю и узор шелковых занавесок, за которыми прячутся горшочки сердитых кактусов. Сквозь отворенную фрамугу доносятся то завыванье, то всхлипы — на улице ветер и дождь. Ворчит вода в радиаторах отопления.

Слева — притихший коридор с ковровой темно-красной дорожкой. Из палат пока ни единого зова. Сигнальные лампочки, расположенные передо мной на доске, безучастно тусклы. Хотя нет! Одна загорелась. Палата пятьсот четырнадцатая — двухкоечная. Вскакиваю. Кому из двоих я понадобилась? Солидному, замученному радикулитом Фуркасову или непоседе Апенченко?

— Ох поясница... — встретил меня жалобами Фуркасов. — Ох, теперь пропадешь...

От радикулита не пропадают. Достала из шкафчика анальгин, налила в стакан воды и подала, приговаривая: «Не в руку, а в рот». Это наши сестринские азы. Любое лекарство должно быть принято у тебя на глазах! Разве не позор, если в тумбочке только что выписанного больного обнаружится ворох неиспользованных таблеток и порошков.

Правда, от анальгина, от средств, снимающих боль, вряд ли кто когда отказался.

Поправила на обеих койках одеяла, щелкнула выключателем и, не подозревая, насколько это мое дежурство будет связано именно с пятьсот четырнадцатой палатой, говорю с ее порога: «Спокойной ночи, друзья».

Лично мне еще далеко до покоя. Быстро к столу. Приказываю себе: внимание, четкость, точность.

Диетсестре, тоже к утру, нужен от моего поста порционник. Тщательно разбираю не слишком-то четкие врачебные записи.

Молчание нарушает невнятное шарканье в глубине коридора. Затем чей-то кашель, недовольное бормотанье. Дальше вновь тишина. Потянувшись, размяв затекшие пальцы, берусь за сводку для приемного отделения: сколько за истекшие сутки поступило больных, в какие палаты, сколько выбыло домой или в другое отделение.

Кончено. Все подытожила. Осталось сложить бумаги, обойти потихоньку свое сонное царство, пошушукаться с нянечкой тетей Анфисой и устроить себе заслуженный «перекур».

Давно установлено: чтобы не задремать невзначай, нужно поставить стул боком к столу, устроиться на нем на коленках, локти на стол. Лично у меня этот опыт с ученических лет, любила в такой позе засиживаться за книжкой или учебником. Мама — она у меня еще с войны

работает санитаркой, стало быть, в медицине заслуженный человек — меня поругивала: «Может получиться искривление позвоночника».

Однако не получилось! Как хочу, так и бодрствую в часы передышки. Посиживаю себе на коленках и воображаю, будто отсюда, с поста, «прослушиваю» больницу, весь ее дремлющий организм. Порой доходят отдельные невнятные звуки. Что там? Возможно, «чепе». То представляется переполох в желудочно-кишечном отделении, что прямо над моими палатами, то в эндокринологии — она как раз подо мной. Мысленно пробегаю по всем процедурным, похожим друг на дружку, как близнецы. Заглядываю в ординаторские. Не спутаю, где каким тоном окрашены стены, как расположены столики, чей портрет висит над диваном, обряженным в холщовый чехол.

Ночью мой пост, мой светлый прибранный столик, представляется мне как бы центром больницы. По обе стороны, где-то вдали, замыкают торцы большие безмолвные лифты. В соседстве с ними, едва подсохнув после влажной уборки, отдыхают марши лестничных клеток.

Ну и я отдыхаю. Но при этом все равно нахожусь начеку, в боевой готовности. Я часовой. Только не в шинели, конечно, а в белом халате.

Не так оно просто было заработать право на белый. Мы, тогда еще ученицы, основательно потрудились в синих, выполняя обязанности санитарок, начиная свой путь с так называемой черной работы.

Зато как торжественно нам вручали на смену синим халатам один на всех учащихся-практикантов, в виде символа новенький белоснежный халат.

Руководитель практики врач Федосья Васильевна повторила со сцены знаменитую клятву. Первым ее, еще в древности, произнес Гиппократ — отец медицины; потом

давали, получая диплом, и Пирогов, и Антон Павлович Чехов: «В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного. Клянусь... Клянусь... Клянусь...»

Мы, будущие медсестры, подтверждали улыбками и кивками: клянемся!

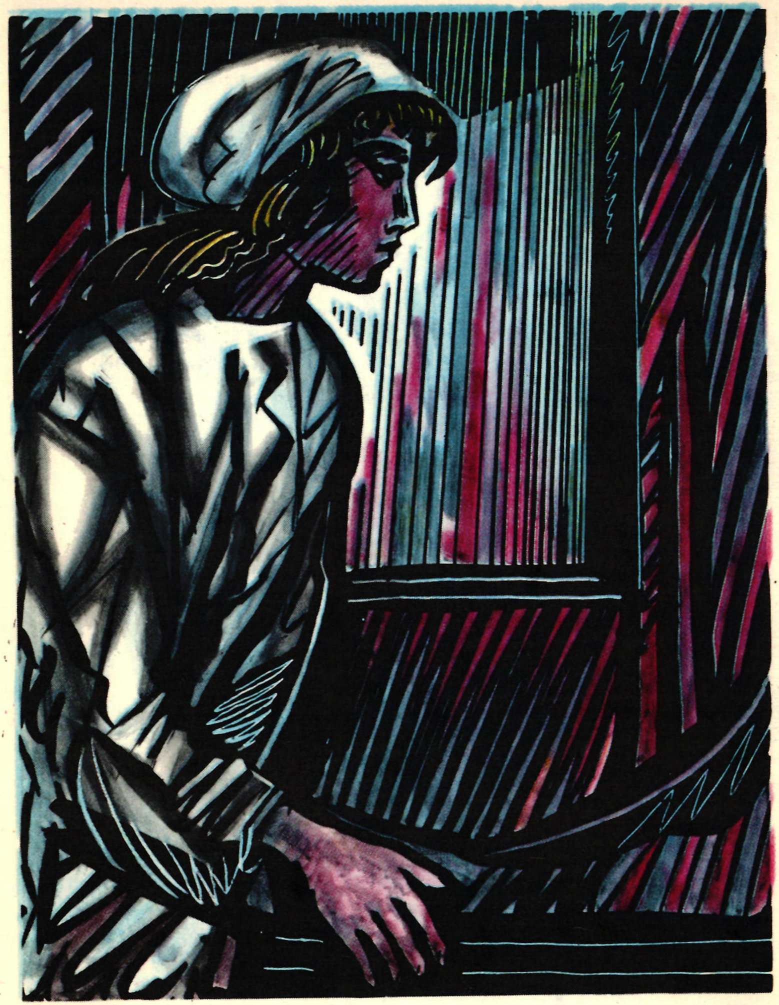
Федосья Васильевна, стоя за столом, покрытым красным сукном, разбирала тонкости избранной нами профессии. Повторила и сказанное при нашем первом знакомстве: «Главное — это любить человека!» Теперь в своей речи на вечере она то и дело возвращалась к тому же. «Чуткость и человечность, состраданье к больному надо в себе сознательно развивать. Воспитывайте себя. Присматривайтесь к окружающим вас людям. Много читайте, узнавайте побольше. Не успокаивайтесь. Самое вредное и опасное — это рассуждать, что на всех души не хватит. Больным нужно, чтобы хватило».

Мы дружно хлопали. После не раз повторяли друг дружке приведенное в докладе, казавшееся забавным изречение: «Жизнь не настолько коротка, чтобы людям не хватало времени на вежливость».

О вежливости, обходительности с больными, о добром отношении к ним говорилось чуть не на каждом занятии. Был такой случай: мы, уже в белых халатах, были приглашены на беседу с одним из врачей — руководителей практики. Уселись рядком в ординаторской. Туда же без стука заглядывает не больно-то вежливый (еле кивнул), явно рассерженный посетитель. «Я, — говорит, — от имени коллектива. Что-то наш товарищ медленно идет на поправку».

— Товарищ? — с расстановкой переспросил его врач. — И часто вы его навещаете?

— Я-то? — замялся вошедший. — Я, сказать по правде, впервые. Но кто-то из месткома у него побывал. Он у нас, понимаете, одинокий, может, доктор, требуется какие продукты или лекарства сыскать?



Доктор задумывается, затем обращается к нашей белой стайке, заполнившей ординаторскую.

— Помните больного в девятой палате? Заметили, вечно лежит, отвернувшись к стене, при обходе отмалчивается. Чем такому поэффективней помочь?

Мы мнемся, не находим ответа. Врач тем временем дает совет посетителю:

— Усилить внимание! Так и передайте своему коллективу. А вы, — это он уже обращается к нам, — запомните на всю свою жизнь: всего нужнее больному положительные эмоции. Я бы так и прописывал: по столовой ложке радости через час.

Много чего вспоминается... И вдруг над ухом:

— Сестричка, можно отвлечь?

Гляжу — Апенченко! Полосатые пижамные брюки, бязевая с завязочками рубаха, комичные усики, воинственный ежик. Переминается, подмигивает, чудак. Настораживаюсь.

— У вас дело ко мне?

Больной ерошит свой ежик и снова подмигивает:

— Вот именно, дело! Не слажу без вас.

— С Фуркасовым? — живо поднимаюсь со стула.

— Вот именно... Расстонался: помру. Надо бы... — Апенченко затеребил свои комичные усики, — надо бы, миленькая, поднять ему настроение. — Он подал мне руку, будто приглашая на вальс. — Придется пройти в палату, будем бедному заговаривать зубы вдвоем.

Пошли, принялись «заговаривать». То есть прежде всего я стала по всем правилам растирать Фуркасову его беспокойную поясницу. Но одновременно не забывала о психике. Что за нелепые мысли — помру?! Терпеливо разъяснила, что опасности нет, смертельной тем более, о свойствах радикулитных болей выдала справку на самом научном уровне. Медикам известно, до чего эти боли норовистые. Если сразу не сладишь, спешат из ноющих и

тупых превратиться в стреляющие, колющие, сверлящие. Когда я помянула еще и жующие, Апенченко бодренько зачмокал и зажевал. Для поднятия общего настроения.

Федосья Васильевна — та, что поздравила нас в актовом зале с завоеванным правом на белый халат, — просила не забывать, сколь важную роль в выздоровлении больного играет его душевный настрой.

Помнится, как однажды она решительно подошла к приунывшему язвеннику и давай его распекать: «Нас ведь трое: вы, я и болезнь. Если вы будете заодно с болезнью, возьмете ее сторону, мне вас двоих, голубчик, не одолеть».

Эти ее золотые слова я сейчас повторила Фуркасову.

Не знаю, что в первую очередь принесло облегченье Фуркасову — мои труды над его поясницей или способность к «заговариванью зубов». Апенченко, во всяком случае, не раз мне одобряюще подмигнул.

— Раз уж вы, сестричка, такая у нас симпатичная, хочу показать вам самую заветную фотографию.

Он с довольным видом поглаживал усики, а я любовалась его белозубой женой с упитанным малышом на руках.

— Ну как, хороши? — даже руки скрестил на груди.

— Хороши! — отозвалась в ответ.

В нашей с мамой семье тоже имелась своя заветная фотография. О ней я и вспомнила, вернувшись на пост. Как-то возвращаясь домой, я еще у двери на лестнице бучуяла аромат нежданного празднества. Странноватый букет из корицы, жареного лука и антоновки, превращенной в начинку.

Мамины щеки пылали от жара духовки, помноженного на внутренний жар. Кого она, думаю, ждет?

На столе, на новенькой скатерти, высится определен-

ного назначения графинчик. Сам, наверное, удивлен, что в кои-то веки извлечен в нашем добродетельном доме на свет. Пущен в ход и драгоценный сервиз — подарок медперсонала к сорокалетию матери. Старшая сестра, принося поздравления от имени коллектива, сказала: «В ваше дежурство, дорогая Ольга Никитична, все уголки на этаже улыбаются». Это о том, какая мама чистюля.

Мне, не успела я сбросить пальто, уже приказала:

— Быстрей умывайся! — И следом: — Приоденься, да понарядней! Хочу тебя во всей красе показать.

Демонстрировать? Интересно, кому?

— Что за важные гости?

Мама не отозвалась. Молча порылась в шкафу, молча достала заветную, до мелочей знакомую фотографию. На обороте: 1943-й. Сколько помню себя, столько помню тот бережно сохраняемый снимок. Скошенная снарядом сосна, примятый ею кустарник, а на первом плане пять молоденьких девушек; все в пилотках, в юбках, в кирзовых сапогах. Три ефрейтора, два младших сержанта. «Рядовой состав медицинской службы» — так любила говаривать мать. Сейчас она сказала, сияя:

— Вот кого жду!

— Нет, правда? Обеих?

Мама была не в счет. Сима с Верочкой не вернулись с войны. Стало быть, ожидается Валентина и та из подруг, что на фото «гадала», обрывая лепестки у ромашек. Мама звала ее Анночкой, я была с ней знакома лишь по открыткам, ежегодно прибывающим из Ленинграда к двадцать третьему февраля. Тетю Валю знала отлично, она работала старшей сестрой в Лефортове, в госпитале Бурденко. Анна Григорьевна — ленинградский хирург.

Я пулей выскочила в переднюю на звонок. Там же, разумеется, очутилась и наша соседка Ираида Гавриловна. Поблескивая клипсами — ее непременная принадлежность, — она с умилением наблюдала шумные поцелуи и

дотошный разбор кто и как изменился. Кстати, Анна Григорьевна осталась такой же тоненькой, как на фото, где она склонилась к ромашкам. Сейчас ее руки протягивали мне две толстенькие свечи в массивных подсвечниках. Свечи — голубая и красная, обе с рельефным рисунком — вызвали громкое восхищение Ираиды Гавриловны.

— Откуда такие красавицы? Из Ленинграда?

— Таллинские, — ответила Анна Григорьевна. — Муж недавно привез.

— А это московские, — вставила тетя Валя, вынимая из сумки коробку конфет «Ассорти».

Конфетам нашлось место среди угощенья. А свечи в подсвечниках, словно два часовых, выстроились поодаль на полке. Бывшие фронтовички, усевшись за стол, расщебетались, как школьницы. Первый тост, разумеется, был:

— За боевую молодость нашу!

Я не сводила глаз с Анны Григорьевны — она и сейчас казалась мне молодой. Вся какая-то легкая. Ее привыкшая к скальпелю тренированная рука проворно нарезала мамину пышную кулебяку. Я разглядывала краешком глаза светлую блузку: помнила, что высокая стойка у шеи маскирует след былого ранения. А вот шрамик, пролегший над правой, красиво очерченной бровью, не спрятался, был на виду.

Боевая трудная молодость... О ней я тогда за столом услыхала немало. Вспомнили подруги одно «рядовое событие», происшедшее в одном тоже «рядовом» городке.

...Санитарка Забрещенко сопровождает автобус с красным крестом. Попадает в бомбежку. Перекладывает раненых из машины в кювет, потом всех пристраивает обратно. С помощью водителя, разумеется. А тот, не успев опять усесться за руль, валится, сраженный осколком. Только и успел объяснить перед смертью, как включают мотор, успел прохрипеть: гони! Мама включила, погнала. Ведет автобус, крутит баранку, лишь бы не вре-

заться. А как остановить — неизвестно. Едет, кричит опустевшим улицам: помогите остановиться!

Но ведь едет! И без аварий. О собственной жизни не беспокоится, ей лишь бы раненых не загубить.

Спасенье принес встречный грузовичок. Из него прямо на крышу автобуса прыгнул милиционер. Свесил голову, диктует в кабину: «Нажимай на педаль, на правую, что ты!» В госпиталь он ее, обессилевшую, внес на руках. Поместил в дежурке. На клеенчатой драной кушетке она приходила в себя после невыносимого напряжения. Отдыхала отпущенные ей девяносто минут.

Вот она, моя Ольга Никитична! Родной дочери о ее подвигах приходится узнавать от других... Время шло, воспоминания сменяли друг друга. Вспыхивала радость, возникала печаль. Незаметно надвинулись сумерки. Почему-то верхний свет зажигать не хотелось, чиркнула спичкой. Загорелась красная, за нею голубая свеча.

— А помните, — вздохнула Анна Григорьевна.

Колеблющееся пламя, разогнавшее полутьму, вызвало в памяти собравшихся фронтовичек костер на привале, а там и песню минувших времен. Три голоса слаженно затянули:

Звезда моя высокая, не прячься, не дрожи.
Погода очень тихая, и сумерки свежи...

Что было в песне особенного? Кажется, ничего. Но меня с той поры не раз влекло вечерней порой вглядеться в небо. Замру, запрокину голову и вижу ее — мою звезду, мигающую мне из галактики. Мою. Всю в лучиках, обещающую счастье.

Вот и сейчас, на дежурстве, что-то толкает меня подняться и от столика пройти к окну соседнего холла. Раздвинула плотные занавески, наткнулась в рассеянности на кактусовую колючку, пососала занывший палец и

прильнула к стеклу. А в небе ни звездочки — ночь позади.

Смотрю на часы и спешу в ожидающую меня процедурную. Мою руки, берусь за утренние, точней, за предутренние дела. Тщательно промываю стерилизаторы, чищу содой шприцы, ставлю кипятиться мензурки и зонды. Градусники с вечера томятся в растворе Купера, ждут, что я их первыми разнесу по больным.

Разношу, бесшумно ступая, навещаю палату за палатой подряд. Пятьсот четырнадцатая у меня напоследок: ее обитатели вправе подольше поспать. Если Фуркасов при пробуждении вновь впадет в пессимизм, я уже придумала, чем его урезонить: Пирогов доказал, что цифры смертности в госпиталях совершенно различны в армиях побежденных и победителей. Потому что на ход заживления ран сильно влияет душевное состояние.

Однако Фуркасов, к моему удовольствию, выглядел совсем молодчиной. Легко приподнялся, начал шутить. Что, дескать «отсверлило» его, «отжевало» — в том смысле, что боль отпустила совсем. На радостях своего соседа не замечал.

А того — весельчака, непоседу — не узнать! Распластался, примяв затылком подушку. Вялый, недвижный, ко всем безразличный. Даже воинственный ежик поник, усики и те поскучнели. Но более всего изменились глаза: невыразительные, как бы потухшие.

— Что с вами? — наклоняюсь к Апенченко. — Не тошнило? Головокружения нет?

Глянул равнодушно — и все.

Я с перепугу метнулась к тумбочке, достала заветную фотографию с двумя самыми близкими Апенченко существами, о которых он с такой гордостью спрашивал: «Хороши?!»

Все равно у больного полное безразличие, а у меня в сердце еще больший испуг. Пытаюсь разобраться. Пере-

бираю в памяти усвоенное в училище. Несомненно — состояние неотложное.

И забила тревогу.

Люди правильно говорят: кто скоро помог, тот дважды помог. В медицине это не дважды, а трижды, четырежды. Ведь иногда решают минуты, секунды. Недаром водителю «скорой помощи» разрешено набирать предельную скорость. И делать любой поворот. И сигналить. И мчаться на красный свет.

Стараюсь сообразить, выбежав в коридор, куда теперь мчаться? Час еще ранний, палатные врачи не пришли. Стало быть, немедля к дежурному!

— В пятьсот четырнадцатую... Пожалуйста, сразу... — у самой, чувствую, зубы стучат. — Состояние неотложное.

В девять мне на смену явилась Люда Иванченко, но я не уходила домой. Врачи определили закупорку мозгового сосуда.

— Это очень опасно? — спрашиваю у завотделением. А в мыслях не только больной, но и те, с кем знакома всего лишь полсуток и всего лишь по снимку.

Ответом было:

— Сделаем все.

И делали. Я еще в детстве поверила во всемогущество медицины. Лишь бы вмешаться вовремя! Лишь бы не упустить!

Запомнился случай, когда мы, всей группой, были практикантами в больнице у Федосьи Васильевны. Стою я внизу, жду лифта, надо подняться в лабораторию функциональной диагностики. Вдруг по ногам пробегает резкий уличный ветерок. Откуда? Вроде бы со стороны дворового входа. Не обернулась потому, что тут же спустился лифт — большая кабина, способная вместить не только каталку с лежачим больным, но и сопровождающих. В спустившуюся кабину успела войти нянечка с тюком белья и еще кто-то.

И вдруг раздалось на весь коридор:

— Подождите! Не поднимайтесь!

Видим, осторожно несут человека. В шлеме, в летной одежде. Причем не на нормальных носилках, а на ловко уложенных еловых ветвях. Авария, как я поняла, случилась над лесом. Самодельные носилки, чтобы втащить их в лифт без толчков, осторожненько, стали быстро опиливать. В коридоре запахло смолой и свежестью подтаявшей хвои. Зеленые ветки мелко вздрагивают под острыми зубьями инструмента. Кроме визга пилы, ни единого звука; окружающие вопросов не задают. Сам пострадавший не стонет, не реагирует, словно бы находится в другом измерении. Глаза открыты, взгляд неподвижен. Медикам можно не объяснять: травматический шок.

В памяти запечатлелось: душистая, ярко-зеленая хвоя и неподвижное, совсем юное, но мертвенное лицо.

Больного, наверно, уже доставили в операционную, а я все смотрела на опавшие возле лифта хвойные иглы. Затем, очнувшись, глубоко вдохнула лесной живительный дух.

Того летчика-испытателя все же спасли. Перевели после реанимации в двухкоечную палату. Сама видела, как он лежал на резиновом специальном матраце из отдельных квадратных подушечек. Их, как мне объяснили, надувают в определенном порядке. Один квадрат, предположим, надуют, из другого выпустят воздух. Дают отдых разным участкам спины... Спасли. Поставили на ноги.

Апенченко тоже спасли.

Прошла неделя, может быть, полторы. Спешу уже не на ночное, а на дневное дежурство. На улице ветер. Продрогшая, с разгоревшимися щеками поднимаюсь по лестнице в свое отделение. На одной из площадок оказываюсь ли-

цом к лицу с главврачом. Он у нас строгий — Александр Семенович. Рядом с ним Таня Степушкина, секретарь комсомольской организации. Увидели меня и вроде даже обрадовались.

«С чего это?» — подумалось мне.

— Здравствуйте, — говорю.

Татьяна и вправду сияет. Главврач принимает торжественный вид, обращается ко мне по имени-отчеству:

— Поздравляю вас, Клавдия Николаевна. — Берет мою красную иззябшую руку и уважительно пожимает ее.

А Степушкина улыбается, словно поздравляют ее.

— Видели, Клавдия Николаевна, последний приказ?

Я растерянно спросила:

— Приказ?

— Ну внизу... На доске... — подхватила, не выдержав, Степушкина. Она стиснула мои плечи. — Неужели не видела? Благодарность. Тебе.

— За что?

— Она еще спрашивает! За своевременный сигнал, возможно, даже за спасение жизни.

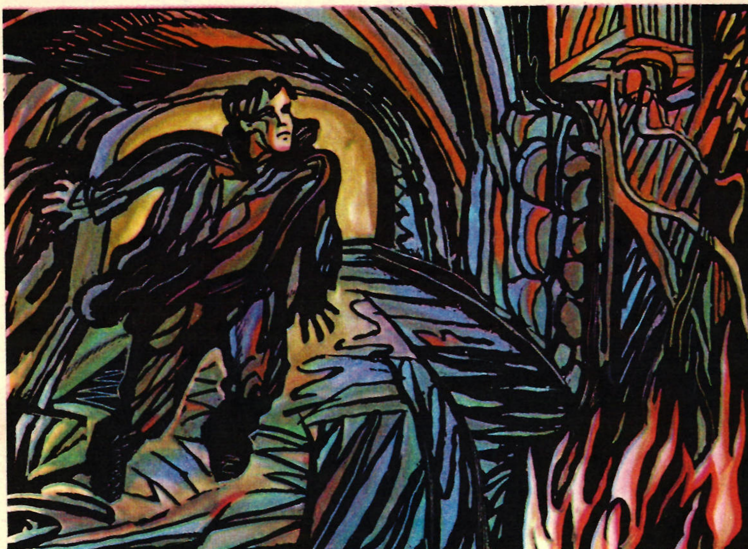
Александру Семеновичу не свойственна порывистость, как Татьяне, но и он похвалил мои действия:

— Настоящая медсестра не механический исполнитель воли врача, а мыслящий, инициативный работник.

Благодарность в приказе... Шагая мимо хорошо мне знакомых палат, в том числе и пятьсот четырнадцатой, я не чуяла под собой ног. Представляла, как в свободную минутку спущусь в вестибюль взглянуть на последний приказ, как порадую нынешним вечером маму.

Какое у меня было в тот день, в то дежурство душевное состояние? Как бы это объяснить поточней... Ну, словно в армии победителей.

ВЛАДИМИР ТИТОВ



ВСЕМ СМЕРТЯМ НАЗЛО

(Отрывки из повести)

Сидеть одной в пустой квартире всегда было мучительно для Тани. На тот раз особенно. Второй день она в отпуске, а еще неясно, когда отпустят Сергея. И дадут ли ему вообще возможность отдохнуть в этом месяце? Может случиться так: отгуляет она свои двадцать четыре дня, выйдет на работу, а потом коротать дома отпускные дни будет Сергей...

«Неужели ничего не выйдет? — думает Таня. — Столько лет мечтали поехать в отпуск вместе...»

Таня ждет и смотрит в окно... Вот сейчас войдет Сережа, скажет: «Не дали... Понимаешь, дела».

А она скажет: «Я так и знала. Непутевый ты какой-то, Сережка». А он скажет: «Танюш, я есть хочу...» А она ответит: «Бери и ешь! Я в отпуске, а ты как знаешь. Имею я право на отдых или нет?»

Таня так отчетливо все это себе представила, что на глаза от досады навернулись слезы.

Рано нынче пришла весна. Как-то сразу сникли и обессилели снежные бураны, завывавшие долгими ночами по тихим улочкам молодого шахтерского поселка. Робко, словно боясь рассердить седую стужу, улыбнулось из-за туч солнце. И зима действительно рассердилась. Ощетинилась на ночь ледяными штыками крыш, злобно захрустела под ногами ломкой белесой пленкой луж, обожгла колючим дыханием дымящуюся вершину террикона.

А потом осмелело солнце. Засуетились, ускоряя бег, облака, расплылось в широкой улыбке небо, и солнце горячим лучом припало к холодной, дремлющей земле.

Добралась весна и до шахтного вентилятора. Воздух, пропитанный запахами земли, как бы остановился перед бешено кружащимися лопатками, мгновение подумал и ринулся в темную, сырую пасть ствола, ворвался в штреки и пошел гулять по лавам, забоям, будоража души шахтеров необъяснимо сладкой тоской по солнцу, по высокому темно-голубому небу.

Сергей Петров шел по штреку в лихо сдвинутой набекрень шахтерской каске. Казалось, крикни кто «гопля!» — и он пустится в пляс, стремительный, неугомонный и несуразный.

Сергей торопился. И не потому, что того требовала работа. Нет. Просто им владел ничем не объяснимый восторг, и очень хотелось поскорее выехать на-гора, поближе

рассмотреть солнышко. К тому же в столе начальника участка его ждали подписанные документы на отпуск.

...Смена близилась к концу. Все объекты были проверены, и Сергей теперь уже не спеша шел по штреку. Весенний восторг, овладевший им некоторое время назад, сменила неторопливая, мечтательная задумчивость. Он ясно представил себе, как зазеленеют деревца, посаженные комсомольцами на улицах шахтерского поселка. Они подрастут, станут кудрявыми, к тому времени у них с Таней обязательно появится сын. Маленький смешной карапуз! Сергей и Таня будут гулять с ним по тихим аллеям и рассказывать, какой здесь несколько лет назад был пустырь. А шахта станет предприятием коммунистического труда. Обязательно станет! В поселке построим большой стадион с трибунами, беговыми дорожками, футбольным полем, волейбольной площадкой... Сергей вспомнил об отпуске, и чувства его раздвоились. Радость затуманилась сомнением. «Ребята скажут: «Заварил кашу с воскресником, штабом, а сам... в кусты». Нет, они этого не скажут! Друзья будут рады за нас! Эх, чудно все-таки устроена жизнь! Весна... Таня... Отпуск, а там снова работа, шахта, друзья...»

Но не пришлось поехать в отпуск Сережке Петрову... Не было его и среди друзей в день присуждения комсомольско-молодежной бригаде звания бригады коммунистического труда. И деревца, что шумят листвой на тихих улочках шахтерского поселка, посажены... не его руками...

Вагонетка сошла с рельсов, упала набок и краем кузова расплющила подвешенный к металлической стойке бронированный кабель. Автоматическая защита не сработала. Белым факелом вспыхнула дуга короткого замыкания. Голубая змейка огня, зловеще треща, ползла по ка-

белю к трансформатору. Через несколько секунд она доберется до камеры — и произойдет непоправимое... Трансформатор взорвется! Завалит выход всего восточного крыла. Вспыхнет пожар! В лавах люди. Скорей!

«Отключить! — Сергей срывается с места и бежит к камере. — Ручку влево, до щелчка. Корпус ячейки наверняка под напряжением».

Тугие корявые нити, пронзившие стрелами тело, упруго дрожат, с хрустом скручиваются в спирали и ввинчиваются в руки, в голову, в ноги. Спиралей мириады. Они в каждой клетке тела. Вытягиваются и снова скручиваются, ввинчиваются и дрожат. Тянут к трансформатору. Там смерть. Мгновенная. В пепел...

«Какой жуткий сон! Надо скорей проснуться!» Сергей хочет крикнуть, но в языке спираль. Она жжет. Становится страшно.

— Лю-у-у-ди-и-и! — Крик застревает в мозгу. — Ы-ы-ы! — прорывается к горлу и задыхается там судорогой.

«Надо оттолкнуться!» Руки не слушаются.

Спирали резко выпрямились, слились в дрожащую нить. В мозгу что-то взорвалось, закружилось в вихре.

«А-а-а!» — закричал вихрь.

Погас свет. Нить перестала дрожать.

«Там же шесть тысяч вольт!»

— Помоги-и-и-те-е-е! — В горле хрипит, не хватает воздуха. «Где-то рядом телефон».

Сергей встает, делает несколько шагов вперед и падает лицом вниз, в жидкую, холодную грязь.

«Надо встать, встать, встать... — командует он и не слушается собственных команд. — Ток выключен. Кабель еще горит».

Сергей поднимается на коленях, проползает несколько метров и падает на голубую змею огня.

Его нашли проходчики. Он лежал на кабеле метрах в десяти от трансформаторной камеры, тихо стонал и просил пить. Глаза Сергея были широко раскрыты и удивленно смотрели вверх. На правой ноге горел резиновый сапог. Когда его попытались снять, Сергей вскрикнул и закрыл глаза.

— Пить!

У Коли Гончарова дрожит рука, и вода из фляжки льется на подбородок, на щеки, стекает за шею, оставляя на лице белые полосы.

— Ребята, я жив? — Сергей поднимает голову и тут же роняет ее. — Пить...

— Сережа, потерпи, может, нельзя много воды... — В голосе Николая мольба, просьба, жалость.

Удары по колоколу, торопливые, тревожные. Машинист шахтного подъема настораживается и крепче усаживается в кресле.

...Шесть, семь, нет, он не ошибся. На световом табло загорается цифра 7. Она зажигается редко и, может, поэтому кажется чужой и страшной. Семерка требует: «Самый осторожный подъем, машинист, в клети раненый шахтер...»

Шахтная клеть зависает на тросе и плавно ползет вверх. Набегающая струя воздуха шепеляво свистит в железном козырьке клети, врывается внутрь и брызжет мелкими каплями дождя. Капли пахнут весной и прелью околоствольного двора. Коля Гончаров стоит на коленях и осторожно поддерживает голову друга.

Сергей открывает глаза и смотрит на склоненные к нему лица.

«Почему они молчат? Что случилось? Неужели это явь? Там же шесть тысяч вольт. Если не сон, то я мертв. Разбудите же меня!» Сергей пытается приподнять руки и морщится от боли. На мгновение к нему возвращается

ясное сознание. «Неужели со мной?.. — По телу пополз страх, сердце сжалось и вдруг упало. — Молчат...»

Когда в шахту приходит беда, шахтеры угрюмы и молчаливы.

Клеть остановилась у приемной площадки. Яркий весенний свет слепит глаза, давит в уши, щекочет в носу. В открытую дверь Сергей видит машину с красным крестом на боку. Крест, как огромный паук, неуклюже ворочается, тянет беспалые красные лапы к лицу и хрипло скрипит: «По-о-пал-ся-а-а...»

«Чга-чга-чга...» — визгливым скрежетом хохочет вверху.

Сергею хочется сделаться маленьким-маленьким и убежать, спрятаться от красного паука и страшного металлического хохота.

Паук схватил за руки, больно придавил глаза, бешено завертелся сплошным красным колесом.

— Петров, Петров! — донеслось откуда-то издалека, и колесо стало черным.

— Какой молодец!.. Отключил!.. На верную смерть шел. Руки... руки... осторожней. — Голоса слились и потонули в красно-черном тумане.

На чистом бланке истории болезни несколько строк: «Петров Сергей. Электроожог 4—5-й степеней обеих верхних конечностей и правой стопы. Доставлен каретой «скорой помощи» в глубоком шоке».

Срочно созванный консилиум заседал недолго.

— Надежды мало. Положение больного почти безнадежное. Смерть может наступить каждую секунду. Это чудо, что после поражения током в шесть тысяч вольт человек жив. Наш долг — сделать все от нас зависящее... — Главный врач больницы отодвинул бланк исто-



рии болезни и тихо добавил: — Будем надеяться... Лечащим врачом назначаю Валерия Ивановича Горюнова.

За окном капелью звенела весна, обиженно стучала по окну голой веткой сирени, будто хотела сказать: «Что же вы, люди, забыли обо мне?» А людям стало не до весны...

Весть о несчастье поползла по палатам. Сделались сосредоточенно-суровыми лица больных, словно все они нечаянно заглянули в пропасть и она грозно, гипнотически поманила их.

Таня стоит у окна и смотрит, смотрит...

Цепочка людей, растянувшаяся от шахты до поселка, заметно редеет и через несколько минут совсем обрывается. На руке тикают часы. Таня сердится:

«Опять у Сергея какое-нибудь заседание!»

На дороге появилась группа людей. Шли, размахивая руками, — вероятно, спорили. Тане показалось, что среди них Сергей. Рассмотрела лучше и рассердилась еще больше: Сергея нет. Люди прошли, и дорога опять опустела.

Из окна квартиры виден террикон. По нему вверх медленно ползет вагонетка. Доезжает до вершины, останавливается на миг и перевертывается вверх дном. Из вагонетки высыпаются крупные куски породы, катятся вниз и плюхаются в лужу, разлившуюся у основания террикона. Летят брызги, а вагонетка торопится вниз, за новой партией камня.

Таня не заметила, как к дому подъехала голубая «Победа». Хлопнули дверцы, она увидела людей, торопливо идущих от машины к их дому...

«Это ж Сережкин начальник... И дед с их участка. Где Сергей?» Таня почувствовала, как мозг царапнула мысль, от которой кровь прилила к лицу, часто-часто застучало сердце и вдруг упало, сжавшись в болезненный комок.

«Может быть, не к нам. Чего ж я боюсь?»

В дверь постучали. Стук грохотом ударил по комнате. Таня подняла руки к похолодевшим щекам и села. «Не открою!» — мелькнула безрассудная мысль.

Стук робко повторился. Послышались приглушенные голоса.

«Надо открыть». Руки дрожат, никак не могут найти задвижку от двери. И когда медленно, словно в квартире покойник, сняв шапки, вошли Петр Павлович и старый мастер, дед Кузьмич, Таня без слов поняла: случилось что-то ужасное.

— Что с Сережей? — И заплакала.

Метнулась к шкафу за косынкой, но ноги подломились, в глазах пошли черные круги.

— Не плачь, дочка, бог даст, все обойдется. — У Кузьмича срывается голос, старчески дрожит, и нельзя понять, надежда в нем или соболезнование. Большая шершавая ладонь неуклюже гладит щеку. — Ничего... Там хорошие врачи, организм у него молодой, крепкий... Не плачь... Что ж теперь делать... Всякое бывает... Такую уж мы выбрали себе долю — на работу как в бой... Случаются и шальные пули... — Спохватившись, что сказал лишнее, заторопился: — Поехали, дочка, одевайся...

Машина едет бесконечно долго. Тане кажется, что они заблудились среди этих многочисленных улиц, переулков и, когда найдут правильную дорогу, будет поздно: Сережка умрет.

— Сейчас приедем, — говорит Кузьмич и весь съеживается.

Какая-то неизвестная сила рванула Таню из машины, заставила пробежать по длинному коридору больницы и остановиться именно перед теми дверьми, за которыми был он, ее муж. Толкнула дверь, сделала шаг в палату и застыла на месте.

Слева, на койке, закутанный в бинты, с бледным, осу-

нувшимся лицом лежал Сергей. Таня боком подвинулась к постели и безвольно осела на пол.

— Сереженька, родной мой, как же ты так, а?.. — Рукой потянулась к лицу и вскрикнула отчаянно, страшно: — Сережа!

Очнулась в пустой, просторной комнате. Посмотрела и удивилась: где это она и что с ней? Вошла женщина в белом халате, что-то сказала и ушла.

На вторые сутки утром Сергей открыл глаза. Таня, сидевшая рядом на стуле, затаила дыхание. Тихонько позвала:

— Сережа!

Глаза повернулись к ней и закрылись.

— Таня, разбуди меня. Я не могу сам проснуться.

— Сереженька, тебе больно?

— Буди скорей!

— Ты не спишь, Сережа. Мы в больнице. Тебе руки током обожгло... немного...

— Неправда... Меня убило... Там же шесть тысяч вольт...

Таня молчала. Глотала комок, подступивший к горлу, и не могла проглотить. «Заговорил, заговорил, значит, будет жить, будет!» А слезы заливали лицо.

— Почему ты плачешь?

— Я ничего... Я так... Я уже не плачу...

— Что в шахте?

— Ты спас людей и шахту от пожара... Там что-то могло взорваться...

— Кто подобрал меня?

— Коля Гончаров с проходчиками.

— Что говорят врачи?

— Врачи?.. Врачи говорят: ничего страшного нет. Немного полежишь здесь, и все пройдет. — Таня старается

сказать это быстро-быстро, словно ждет, что вот войдет кто-нибудь в палату и крикнет: «Нет, не говорят этого врачи, они не надеются на спасение жизни!» И опять замолчит Сережка, и снова надвинется страшная ночь.

— Ты мне говоришь неправду, Таня. Зачем?

— Они... Они ничего не понимают... Они... — И со слезами выдохнула: — Они говорят, что ты умрешь... Это неправда, неправда!

Взгляд Сергея устремлен в потолок, высокий и ослепительно белый. Справа, из угла, тянется узкая темная трещинка, тоненько петляет среди маленьких белых бугорков и незаметно теряется.

И опять показалось Петрову, что он спит и видит сон. Сон, как спрут, засосал его в свои липкие объятия, и нет сил высвободиться из них.

— Выйдите на минутку, мы посмотрим его, — обращается человек в белом.

Сзади стоят двое, держат стеклянного спрута с длинными резиновыми щупальцами.

Горюнов наклонился над койкой, спрашивает:

— Больно? А здесь?

Сергей не чувствует боли и, только когда укололи в плечо, ойкнул.

— Я так и предполагал... Плохи твои дела, парень! Может быть, придется ампутировать. Я о руках говорю.

— Как ампутировать?! Резать?! Вы шутите, да?!

Горюнов смотрит мимо больного и молчит.

— Ам-пу-ти-ро-вать... Как же это, а?! Как же я жить-то буду?! Руки... Таня! — И вдруг закричал диким, нечеловеческим криком: — Не дам, варвары, лучше убейте меня!

И затих.

На третий день началась гангрена. Выход был один — ампутация.

И немедленная...

. .

После операции Таню не пускали к мужу. Она просила, плакала — все бесполезно.

— Ему нужен покой, а вы не сдержите себя, — отказывал новый хирург Вано Ильич Бадьян.

Таня встала и решительно направилась в палату. Вано Ильич остановил ее, молча накинул ей на плечи свой халат и так же молча вернулся в кабинет.

«Только бы не заплакать, сдержать себя. Во что бы то ни стало сдержать, — думала она. — Надо подбодрить его, не дать упасть духом — это главное сейчас. Он сильный! Вдвоем мы все переживем, лишь бы выжил. — И внахлест упрямое: — Выживет, выживет...»

С того момента, как понял Сережка Петров, что не кошмарный сон случился с ним, а дикий по своей жестокости поворот судьбы, в мозгу застыло: «Все кончено».

Что подразумевать под этим «все кончено», Сергей не знал. А на операционном столе, когда загорелось огнем и стало неестественно легким левое плечо, подумал: умереть бы...

И испугался.

Не смерти испугался, а внезапно пришедшей мысли о ней. Что-то простое и совсем обыденное мелькнуло перед глазами, отчего сжалось сердце и подступила неуемная тоска.

В палате он молча смотрел в потолок и не мог совладать с приливом горьких мыслей. «Неужели здесь... На могиле посадят березку...»

И опять стало страшно Сергею.

— Сестра, а почему меня сразу не убило, ведь там высокое напряжение?

— Наверно, вы бессмертный... — тихо сказала она и, оглянувшись, добавила: — Не надо разговаривать, а то нам влетит от врача.

— А лучше бы... смертный...

— Что вы, Сережа! Разве можно так?.. Вы выздоровеете, работать пойдете, ну и все такое... Вот у нас был случай...

— Я знаю эту историю, сестричка. Скажите лучше, когда собираются мне другую... — И замолчал.

Крепко сомкнул веки и, как пулю в сердце, ждал: сейчас скажет — «завтра»...

У дверей палаты Таня остановилась. Поправила волосы, косынку, протянула руку вперед, намереваясь открыть дверь, и не решилась. Боялась увидеть Сергея в окровавленных бинтах, без руки, и чувствовала, что не выдержит, расплачется. Всем телом налегла на дверь и вошла в палату. Глаза Сергея на миг вспыхнули и погасли. Сестра встала и осторожно вышла.

— Я дома была, — выговорила Таня и удивилась звуку своего голоса. «Зачем я это говорю, это же неправда!» — Дома все хорошо, — сказала она и подумала: «Зачем я вру? Я же все время простояла под окном операционной, держа руки около ушей, чтобы закрыть их сразу, как только раздастся крик Сергея». — Сережа, я с тобой тут буду... помогать...

— Сядь, Таня, поговорим... — Сергей глотнул слюну и отвернулся. — Маме всего писать не надо. У нее больное сердце. — Он на минуту замолчал, кусая губы, а потом строго сказал: — Вот и кончилось наше счастье... — И заспешил: — Ты не ходи ко мне, Таня. Так будет лучше. Для нас обоих. Брось меня, уйди. Уходи, я не люблю тебя... я... — Сергей болезненно сморщил лицо и умолк.

Таня судорожно закрылась руками.

— Зачем ты обижаешь меня, Сережа? — Она хотела задушить подступивший вскрик и не могла. — Зачем ты так?.. Я же люблю тебя.

— Тебе двадцать лет, твоя жизнь впереди... Для меня все кончено. Уходи, я прошу...

Дверь качнулась, как в тумане, пол зыбко дрогнул и поплыл в сторону. Из-под рук ускользает дверная ручка, делаясь то гигантски большой, то мизерно маленькой.

«Надо уйти, он просит, я не нужна ему...»

...Выстрелом ударила дверь — ушла. Ушла Таня, жена. Заныло в груди и придавило к постели. Не дотянуться до двери, не открыть ее, не позвать: вернись! Сергей всем телом рванулся вслед и тут же беспомощно упал. Зубами рвал наволочку и неумело, по-мужски плакал.

Впервые за свою сознательную жизнь — неутешно, навзрыд.

Как в пустыне шла Таня по улицам шумного вечернего города. На что-то натыкалась, поворачивала в другую сторону и снова шла без цели, без дум, без желаний. У железнодорожного переезда перед самым носом тяжело ухнул поезд и зацокал частой дробью колес. Таня вздрогнула и побежала назад. «В больницу, скорей!» Пробежав метров десять, остановилась.

— Вас обидели, девушка? — Незнакомый человек осторожно отвел Танины руки от лица и, заглянув в заплаканные глаза, заботливо спросил: — Что-то случилось? Может, помочь?

— Никто не поможет нам, — всхлипнула Таня.

— Зачем же среди улицы плакать? Вам куда идти?

— Не знаю. Муж мой в больнице...

— Что с ним?

— Несчастье в шахте...

— Обвал?

— Нет. Руки током обожгло. Он жить не хочет. Меня гонит от себя.

Парень задумался. Махнул рукой: пошли!

Таня шла рядом и не понимала, куда и зачем ведет ее незнакомый человек. Отвечала на его вопросы, торопясь,

начинала рассказывать о своем горе, на полуслове умолкала, всхлипывая, закрывалась ладонями.

Больница была заперта. На долгий звонок вышла дежурная сестра, молча открыла дверь и, не взглянув на поздних посетителей, ушла.

Танин спутник остановился в коридоре. Растерянным взглядом осмотрел многочисленные двери и почесал затылок. За какой-то из них лежал человек, попавший в беду. Чем он поможет ему? Там, на улице, когда увидел одиноко плачущую женщину, было проще. Человек в беде: надо помочь. В пути подбирал ободряющие слова, не подозревая, что все они поблекнут, станут неубедительными даже для самого себя, стоит только оказаться в этом ярко освещенном коридоре с дурманящим запахом йодоформа.

— Как фамилия вашего мужа? — спросил мужчина, будто ожидая, что эта неизвестная ему фамилия внесет ясность в создавшееся положение.

— Петров.

— Смотрите, какое совпадение! А моя фамилия — Петренко! — Хотел улыбнуться, но только виновато сморщил лицо и откашлялся.

Из операционной вышел врач.

— Кто вас пропустил сюда?

— Мы к Петрову...

— Время для посещения больных с двух часов до пяти. Днем к тому же!

— Товарищ! — Петренко шагнул к врачу. — Нам на пять минут, это очень важно.

— Все в нашей жизни важно, и никто не хочет ждать. — Врач повернулся, чтобы уйти.

Таня узнала Бадьяна.

— Что с ним, доктор? — уцепилась она за халат.

Бадьян остановился.

— Открылось артериальное кровотечение. Кровь оста-

новлена. Для вливания крови не хватило наших запасов нужной группы... В Макеевку пошла машина. Часа через полтора кровь будет. Вот и все. Вы здесь не нужны.

— Как же так, товарищ врач! Доктор! Два часа... это же много! А вдруг человек... — Петренко мял в руках кепку, совал ее в карман, вытаскивал и тряс перед лицом врача. Потом посмотрел на Таню и тихо, умоляющим голосом сказал: — Товарищ, возьмите у меня кровь, пожалуйста, я совершенно здоров. Вот посмотрите! — Он сбросил с себя пальто, заторопился, нащупывая на рубашке пуговицы... — Вы не имеете права отказать мне! — Голос Петренко дрогнул. — Я не уйду отсюда! Я буду жаловаться! Что вы так смотрите на меня?!

— Вы хоть знаете, какая у вас группа крови? — устало спросил Вано Ильич.

— Какое это имеет значение! Кровь есть кровь!

— Нам нужна первая группа, резус положительный.

— Вот-вот! У меня точно такая... с резусом...

Через полчаса Бадьян настраивал аппарат для переливания крови и задумчиво улыбался.

— Сережа, ты знаешь, кто стал твоим донором? Известный тебе... — И поднес ампулу с алой жидкостью к глазам Сергея, надеясь приятно изумить его. На этикетке торопливым почерком было написано: «Петренко Геннадий Федорович. Токарь. Группа крови первая».

Сергей не знал токаря Петренко, так же как токарь Петренко не знал шахтера Петрова. Но врач полагал, что они хорошо знакомы: иначе зачем бы человек врывался в больницу среди ночи и предлагал свою кровь?

Эту ночь Таня провела в больнице.

Однажды ей почудилось, что ее зовут. Бегом направилась в палату. Сергей метался в бреду по постели, хриплым шепотом звал:

— Таня, Танечка... иди ко мне. Не плачь, мама... Мне больно, доктор... Я не хочу, не хочу...

Утром Таня взяла полотенце и повесила на спинку кровати, заслоняя лицо Сергея от солнечных лучей.

— Пусть светит, Таня... — услышала она и замерла.

— Ты не спишь, Сережа?

— Какое теплое солнце...

— Я не уйду от тебя. Что хочешь делай со мной. Не уйду. Мне жизнь без тебя не нужна.

— Спасибо... Танечка...

Состояние Сергея час от часу становилось все хуже и хуже. Оттягивать ампутацию второй руки стало опасно.

За несколько минут до начала ампутации он открыл глаза, обвел взглядом суетившихся вокруг врачей и сказал:

— Значит, и правую...

— Сережа, речь идет о твоей жизни.

— Позовите Таню.

В белой маске вошла Таня.

— Прости, Таня... За вчерашнее. Не хочется мне... Не успели мы пожить... по-настоящему...

По-настоящему... А что было настоящим в их жизни? Кольцо, подаренное Сережкой в день свадьбы? Нет, оно было не настоящим. Его сделали из трехкопеечной монеты Сережкины друзья. Таня понимала: откуда у студента деньги. И не обиделась. Оно и сейчас у нее на руке, рядом с тем, золотым, что купил ей Сергей с первой получки. Десять настоящих не надо ей за то блеклое, медное...

Может, настоящей была свадьба? В разгар веселья им вдруг стало тесно под крышей дома, захотелось поделиться своим счастьем со всем миром. Сергей шепнул:

— Давай сбежим!

И они убежали со свадьбы. Шли по пустынным ули-

цам ночного города, под ногами скрипел снег, и от избытка чувств им хотелось крикнуть: «Люди! Смотрите, какие мы счастливые!»

У Тани мерзли руки, и Сергей грел их в своих, больших, крепких. Потом он целовал ее в глаза, щеки, губы и шептал: «Родная моя, я тебя через всю жизнь на руках пронесу».

У Тани перехватило дыхание, она согласно кивала головой, закусывая губы, боясь разрыдаться, и не могла говорить.

Через два часа Сергей Петров лежал в палате без обеих рук...

Двое суток был он на грани жизни и смерти. Двое суток не отходила от него Таня. Она словно окаменела, сидя на стуле. На уговоры пойти отдохнуть молча качала головой и опять неподвижно застывала, уставившись взглядом в одну точку.

«Что ж ты наделал с собой, Сережка? — думала Таня. — Неужели оставишь меня одну? Совсем одну?.. Нет, нет! Ты не имеешь на это права! Я не хочу, не дам тебе умереть! Врачи просто растерялись, да и возможности районной больницы невелики. Поеду в Донецк, к профессорам...»

Донецк шумел разноголосицей улиц, шуршал по асфальту колесами автомобилей, громыхал переполненными вагонами трамваев. Порывистый апрельский ветер раскачивал деревья, словно будил их от долгой зимней спячки, торопил насладиться жизнью.

Бойкая синеглазая девушка Таниных лет долго объясняла Тане, как проехать в клинику имени Калинина, где, по ее мнению, должны быть хорошие врачи. Смешно сощурилась и сочувственным голосом спросила:

— У вас мама больна, да?

— Нет, муж.

Серая громада главного корпуса больницы, холодно блеснув глазницами окон, вселила в Таню робость и вместе с ней слабую уверенность: ехала не зря.

Человек в очках, внимательно выслушав перемешанный слезами рассказ Тани, молча встал из-за стола и вышел.

«А он совсем не похож на профессора», — подумала Таня.

Профессор вернулся с женщиной.

— С вами поедет доцент Гринь, специалист по ожогам.

Открывшееся с правой стороны кровотечение удалось остановить. Все попытки врачей ввести в вену иглу для переливания крови были безуспешными. Положение усугублялось тем, что неповрежденной была только левая нога. Взмокшие от напряжения врачи тщетно пытались найти спасительный сосуд. От частых уколов нога вспухла, пугающе синела. Пульс не прощупывался.

В суматохе, царившей около койки больного, появления Гринь никто не заметил. Она внимательно присмотрелась к действиям коллег, потом внятным голосом сказала:

— Приготовьте инструмент для вскрытия артерии!

Все как по команде подняли головы и посмотрели на нее.

— Гринь, — отрекомендовалась она. — Попробуем ввести кровь через сонную артерию.

Ночью шел дождь. Темноту за окном рвала молния. Таня испуганно ждала удара грома, а его не было. Упругий весенний ветер шуршал по окнам, и казалось, не выдержат напора хрупкие стекла, лопнут и впустят в палату буйство апрельской ночи. У столика дремала дежурная сестра. В забытьи глухо вскрикивал Сергей. Злясь на свое бессилие, завывал ветер.

«Перевезти в Донецк надо бы, но риск велик. Если в дороге откроется кровотечение...» — в сотый раз вспоминала Таня слова Гринь и каждый раз пугалась недоговоренного слова. — Риск... А если бы сегодня она опоздала, ну хотя бы на десять минут?» Таня подошла к окну, всмотрелась в ночь.

Ночью в окно заглядывал двурогий серп луны. Когда на него наплывали тучи, в палате становилось совсем уж неуютно. Издалека долетал глухой шум. Он медленно нарастал, переходил в отчетливое рокотание и потом так же медленно затихал.

«Машины идут, дорога недалеко, — думал Сергей, силясь уснуть. — Сколько сейчас времени? Как болят руки. Огнем жжет. Отрезали ведь, а они болят. Почему здесь не дали морфия? Скорее бы наступило утро».

Рядом заскрипела кровать. Сонный голос спросил:

— Не спишь, Егорыч? Я вот все думаю: живешь дома, ходишь на работу, и кажется — нет на свете болезней, страданий, все течет гладко, чинно... А как попадешь сюда, насмотришься... Иной будто мир. Сколько на человека бед цепляется! Да какие... Неужели и при коммунизме так же будет?

— А куда ты денешься от всего этого? — откликнулся голос из темноты. — Меньше то есть будет этих гадостей,

а быть будут. Победим старые болезни — новые появятся. Болезни — это тоже проявление жизни.

— Унылая картина.

— Нет, таких больных, как мы, то есть лежачих, не будет. Профилактика лучше станет. В самой ранней стадии распознают болезнь и убьют ее, а то и вовсе предупредят.

Помолчали.

— Странная она штука, жизнь! — заговорил голос, начавший разговор. — Пока не придавит к ногтю, не задумываешься о ней. Живешь себе... Получку получил — рад, выпил — весел, с женой поскандалил — гадко. Транжиришь ее, жизнь, направо-налево... А ей ведь цены нет. Поздно только мы понимаем это. Как у скорого поезда: расстаешься с другом и, пока есть время, болтаешь о пустяках, а тронется, мелькнет последний вагон — и вспомнишь: главного-то я не сказал. Ан поздно! Хлестнет поезд последним гудком — и привет!.. У меня не все получалось в жизни. И лгал, и малодушничал, и прочая гадость была. Это я только теперь понял. Эх, другую бы жизнь мне!

— Жизнь — это не мотор в машине, который можно заменить, — вздохнул Егорыч. — Оболочка осталась, а нутро другое. Недаром кто-то пошутил, что обезьяна, прежде чем стать человеком, сначала засмеялась и подняла голову вверх, то есть разогнулась, потом заплакала, а вытерев слезы, поняла, что у нее есть руки, и тогда стала человеком.

— Да, слезы... Как думаешь, Егорыч, жена останется с ним?

— То есть в каком смысле?

— В прямом... жить, женой...

— Никак не разберу я тебя, Остап Иосифович! Мужик ты вроде ничего...

— Да я просто, я так...

Голоса умолкли.

В наступившей тишине тонко попискивала койка Егорыча. Старик сердито ворочался с боку на бок.

Даже самый беглый осмотр больного убедил Кузнецова — нового лечащего врача Сергея в клинике имени Калинина — в срочной необходимости хирургического вмешательства. Промедление могло стоить Петрову жизни. Сосуды подключичной артерии лопались как мыльные пузыри, вызывая обильные кровоизлияния. Остановить этот смертельно опасный процесс могла только немедленная операция — перевязка артерии почти у самого сердца.

Наступали первомайские праздники. Они могли задержать операцию по меньшей мере на два дня. И Григорий Васильевич решился: он будет оперировать завтра же, Первого мая.

Домой хирург шел пешком. Кузнецов любил эти прогулки после работы. Многоголосый шум, здоровое дыхание многолюдных улиц освежающе действовали на него. Отвлекали от больничных забот, глушили думы о служебных неурядицах, успокаивали нервы. И в этот вечер ему хотелось забыть обо всем на свете, пройтись по предпраздничному городу, ни о чем не думая, не заботясь.

Григорий Васильевич шел домой не спеша. Веселой суматохой были полны улицы, горели кумачом флагов, в воздухе висел радостный гул и пахло чем-то таким, чем может пахнуть только канун большого праздника.

«А может быть, не надо было назначать операцию на праздник? — неожиданно ужалило врача сомнение. Тут же вспомнилось лицо больного и его голос: «Доктор, я буду жить?» — А глаза уже ни во что не верят. Будет, должен! Человек должен жить!»

Около дома Кузнецова встретил сын. С разбегу прыгнул на шею.

— Папочка, мама себе такое красивое платье купила, такое красивое! Мы пойдем на парад? Ты посадишь меня к себе на плечи? Хочешь, я дам тебе шар? Самый красивый!

Отец улыбнулся.

— Видишь ли, Сережа... Дело в том, что я не смогу завтра пойти с вами. Мне очень жаль, но...

Сын соскочил с рук, шмыгнул носом.

— И всегда ты так, папка! То у тебя футбол, то еще что...

— Ну-ну! Ты же мужчина! Постарайся понять меня. Одному человеку очень плохо. Он попал в беду. Ему надо помочь. Обязательно. Понимаешь?

— Ты всегда других любишь. Витька с отцом, а я...

С утра по дороге двигались колонны демонстрантов. Час от часу поток их нарастал, гуще звучали голоса, громче становились песни. Ветер подхватывал их обрывки и бросал в распахнутые форточки больницы, разбивал о горящие солнцем оконные стекла.

Григорий Васильевич Кузнецов, в новеньком белоснежном халате, стремительно вошел в палату.

— С праздником вас, друзья! Какие сны снились, Сережа, на новом месте? Ну, ничего, ничего... Сделаем сегодня небольшую операцию, жизнь пойдет веселее! Сердишься, что не дали морфий? Напрасно! Вот старожил наш, Иван Егорович Ларин, по собственному опыту может подтвердить. — Кузнецов улыбнулся. — Правильно, Егорыч?

— Уж это так. Спасибо вам... А бывало, тоже зубами скрипел.

— Поделись с соседом опытом. Не тем, конечно, как злиться и скрипеть зубами.

И сразу потеплело в палате. Исчезла сковывающая атмосфера, поселившаяся вчера с новым тяжело больным человеком.

В коридоре звякнул звонок. В палате смолкли. По окну скользнула песня, прилетевшая от праздничных колонн. Скрипнула дверь, и в палату въехала коляска для перевозки больных на операцию.

...Таня опоздала. Запыхавшаяся, вбежала в палату, протянула руку с цветами и остановилась: кровать Сергея была пуста.

— Давно? — дрогнул голос.

— С полчаса, — успокоил Егорыч. — Ты не волнуйся, все будет как надо. Приходила сестра, говорила: операция идет успешно. Чувствовал он себя хорошо, ночью спал.

Таня шагнула к кровати. На смятую, влажную от пота подушку положила букет.

— Где операционная?

— По коридору прямо. Подожди здесь, туда не пустят.

— Я там... — И, не договорив, убежала.

Сергей успел просчитать до двух, и по краю огромной лампы, висящей над лицом, быстро побежал вниз головой мизерно маленький человечек. «Так это ж я!» — удивился он, а человечек, взмахнув руками-паутинками, оторвался от лампы и, кувыркаясь, полетел в пустоту. На мгновение Сергей почувствовал, как от его тела отделяют конечности. Потом они вернулись, появилось острое ощущение рук.

«Ру-у-у-ки-и-и! — зашумело в голове. — Они со мной!» Сергей сжал кисти, хрустнули суставы пальцев, и руки поплыли в воздухе, отрываясь от тела. «Не хочу!» —

рванулся Сергей и не успел сказать. Из-под спины ушла опора, и он рывком провалился в черную бездонную яму.

«Конец!» — вспыхнула на мгновение мысль и тут же неосознанной погасла, не вызвав ни страха, ни сожаления. Тяжелый наркотический сон завладел им.

По дороге домой и дома, играя с сыном, Григорий Васильевич, как ни старался прогнать от себя мысли о новом больном и предстоящей операции, сделать этого не мог.

«А вдруг сдаст сердце?.. Отложить операцию?.. Я буду веселиться, а у него откроется артериальное кровотечение и... Уж этого-то я себе никогда не прощу!»

И сегодня, подходя к зданию больницы, Кузнецов сильно волновался, так, как никогда за все годы своей хирургической практики.

«Мы еще повоюем!» — подзадоривал и ободрял он себя. Григорий Васильевич решительно открыл массивную больничную дверь. Запах лекарств пахнул ему в лицо, возвращая к обычному и прогоняя волнение.

Но в предоперационной, посмотрев на свои руки в стерильных перчатках, он снова ощутил что-то похожее на страх.

Кузнецов подошел к окну, выглянул на улицу. Сплошной лавиной двигались нарядные колонны демонстрантов. Казалось, яркая радуга легла на плечи людям и трепетала всеми своими беспорядочными, перепутанными цветами.

— Григорий Васильевич! — позвал ассистент Карделис. — Больной на столе.

Кузнецов резко повернулся от окна и пошел в операционную. В его глазах еще метались знамена первомайских колонн, но думами он был уже там — рядом с больным. А когда Кузнецов сказал: «Скальпель!» — все постороннее исчезло. Остался человек, распластанный во

весь рост на жестком операционном столе, под ослепительным светом ламп, его пульс, дыхание, самочувствие.

Операция началась с небольшой заминки. Делая неглубокий надрез вдоль ключицы, Кузнецов остался недоволен скальпелем. Он попросил заменить инструмент. Ассистент Карделис удивленно вскинул брови, но, очевидно поняв настроение коллеги, одобрительно улыбнулся: «Смелее, Гриша!»

Григорий Васильевич на миг разогнул спину, и операционная сестра ловким движением салфетки вытерла пот с его лица.

«Сейчас начнется главное». Минуя многочисленные кровеносные сосуды и нервы, он должен был добраться до артерии, ничего не задев, подвести под нее шелковую нитку и перевязать.

В операционной стало душно. Сергей в глубоком наркотическом сне.

— Пульс? — спросил хирург, продолжая опасный путь к артерии.

— Норма!

«Надо обойти вену и пучок нервных волокон сверху».

— Меньше обнажай вену, может лопнуть, — предупредил Карделис.

Скальпель по миллиметру, на ощупь движется к цели. На его кончике — жизнь больного.

«Не вскрыв вены, до артерии не доберешься», — думает Кузнецов и говорит об этом помощнику.

— Вижу, они почти срослись...

Сосуд действительно может лопнуть. Его пораженные током стенки потеряли эластичность и могут не выдержать давления крови.

«Что делать?»

— Вскрывай! — посоветовал Карделис. — Другого пути нет. Видишь?!

Кузнецов скорее почувствовал, чем увидел то, к чему

он вот уже в течение часа подбирался. Кончик скальпеля, словно щупая, осторожно прислонился к стенке артерии и тут же был откинут упругой, пульсирующей волной. Нервные волокна, как паутина, обволокли сосуд. Тронь одну и... Их надо отвести в сторону, отсечь живое от живого, не повредив ни нерв, ни артерию.

Какой-то миг Кузнецова терзают сомнения: «Невозможно, это совершенно невозможно...»

В операционной повисла такая тишина, что стук стенных часов казался ударами тяжелого молота.

— Нитку! — попросил Кузнецов и тут же, как обожженный, отпрянул от стола.

Бурая струя крови фонтаном ударила ему в лицо, заполнила разрез операционного поля и, перехлестывая через край, потекла по груди больного.

— Вену! — крикнул Григорий Васильевич.

— Пережал. Не помогает.

— Пульс?

— Пульс слабеет. Аритмичен.

«Черт меня дернул на эту операцию!.. Как я посмотрю в глаза его жене?..»

— Карделис, тампоны! Убирай кровь, я подведу лигатуру.

«Что это — ошибка или неизбежное? Если в этом месиве я задену нерв, тогда конец... О боже, кажется перевязал».

В следующее мгновение врач увидел широко раскрытые глаза операционной сестры и услышал ее срывающийся шепот:

— Пульс пропал. Зрачки не реагируют...

— Адреналин! — рявкнул Карделис.

«К сердцу! Массаж!»

А когда после нескольких массажирующих движений рук хирурга готовое навеки остановиться сердце слабо

колыхнулось, он понял: решение провести операцию именно сегодня было единственно правильным. Если бы кровотечение открылось в палате в тот момент, когда все врачи праздновали Первомай, то даже очень срочное оперативное вмешательство не помогло бы...

Кузнецов вышел в коридор. Подошел к раскрытому окну и жадно закурил. Словно побитые, ныли спина, руки, ноги, тупой болью кололо в висках.

Не слышал, как подошел Карделис.

— Иди, Гриша, выпей за удачу. Ты честно заработал сегодня свои сто грамм!

Кузнецов, разминая затекшие ноги, походил по коридору, заглянул в операционную и, сам того не замечая, пошел в палату оперированного.

У изголовья Сергея сидела Таня. Пятном крови алел смятый букет цветов. Остальные койки были пусты. «Всех вытащила на улицу весна. А им она не в радость...» И от вида опустевшей палаты со скорбной фигурой молодой женщины, склонившейся над спящим в тяжелом наркотическом сне мужем, от сознания того, что еще немало дней и ночей придется просиживать ей вот так, призывая на помощь все свое юное мужество, у врача больно сжалось сердце.

Таня сидела, не замечая вошедшего. Изредка она протягивала руку вперед и осторожно гладила волосы мужа. Глаза ее неотрывно смотрели на него.

— Волновалась? — тихо спросил Кузнецов.

Таня подняла голову, посмотрела на него и беззвучно заплакала.

— Ну вот! Сделан решительный шаг к выздоровлению, а ты плачешь.

— Доктор, он будет жить?

— Часа два назад я бы, пожалуй, был в затруднении

ответить, а сейчас уверяю: будет, обязан! Он спрашивал тебя там, на столе. Ты ему очень нужна, Таня.

— Разве я сама не понимаю этого! Только бы, глупый, не гнал меня от себя. Взбрело ему в голову, что его жизнь кончена, а я могу начать все сначала. Но я не могу!.. Не могу без него!.. Всю радость делили пополам, а теперь что ж?.. Жалеет он меня. А я не хочу так...

Слезы, накипавшие там, около холодной двери операционной, приносили облегчение. Но боль держалась. Таня терзалась своей беспомощностью, видя страдания мужа...

Наступивший день, первый после больницы, не принес Сергею ничего нового, не развеял тяжелых дум. Таня, хлопоча по дому, старалась развеселить его, отвлечь от сумрачных мыслей. Всем своим видом показывала, что все трудное позади, наступила новая жизнь и жить надо по-новому, не поддаваясь печали.

Сергей в глубине души соглашался с Таней: «Да, так надо! Не плакать же беспрестанно о своей судьбе». Но все то же: что делать? как жить? Неужели вот так, без дела, завтра и после — всегда?.. Эти мысли не давали покоя. Перебирал глазами вещи в комнате, а они казались какими-то неловкими, потерявшими для него всякую обиходную ценность.

На этажерке стояли книги. Старые, потрепанные Танины учебники. Сергей пробежал глазами по выцветшим корешкам. На первой полке: «Физика», «Алгебра», «Учебник для подготовки сандружинниц»... На второй ему бросился в глаза знакомый малиновый корешок. Где-то он его видел совсем недавно. Но где, Сергей не мог вспомнить.

«Как же ее достать?» — остановился он в раздумье перед этажеркой. «Ртом!» — осенило его. Он опустился

на колени и потянулся губами к книге. Не рассчитав расстояния, сильно наклонившись, Сергей потерял равновесие и больно ткнулся лбом в полку. Попытался встать на ноги, но тут же беспомощно повалился на пол. «Спокойно, спокойно!» — успокаивал он сам себя, чувствуя, как неизвестно откуда появившийся приступ дикой злобы захлестывает его. Хотелось заорать безумным криком на весь мир, лишь бы дать выход клокочущей в груди обиде. «Спокойно! — прижимая к доскам ушибленный лоб, прошептал Сергей. — Так дело не пойдет!..»

Медленно поднявшись с пола, он походил по комнате. «Все-таки можно же достать!» — упрямо посмотрел он на малиновый корешок.

Злясь и спеша, Сергей снова принялся за начатое дело. Но книга, как заколдованная, ускользала ото рта, пряталась все глубже.

«Сверху, зубами! — решает Сергей и упирается носом в полку. — Проклятье! Все против меня, даже собственный нос».

— Глупенький! — услышал он позади себя голос Тани. — Неужели тебе трудно позвать меня? Не делай больше так, Сережа, я обижусь!

— Я хотел сам, — смутился Сергей. — Надо же как-то приспосабливаться.

Внимательно посмотрев на Сергея, на его растерянно удрученное лицо, Таня вдруг улыбнулась и согласно кивнула головой...

Город-труженик засыпал. Городу снились сны. Большие, как мечта, светлые, как сто солнц, ласковые, как руки матери.

А в одном окне в эту ночь до утра не погас свет. Человек хотел жить. Страстно, до боли, до отчаяния. Жить не бездеятельным наблюдателем, а участником жизни, ее творцом, хозяином. Человек вел трудный бой с самим собой, со своим увечьем. Жестокий, беспощадный бой...

Проснувшись утром, Таня не обнаружила Сергея в постели. Тихонько позвала:

— Сережа, — и увидела его.

Сергей спал, неловко склонив голову на стол, согнувшись на стуле, по-детски подобрав под себя ноги. Внизу, на полу, белела раскрытая тетрадь. Лист бумаги был исчеркан неумелыми кривыми линиями и походил на рисунок ребенка, впервые взявшего в руки непослушный, неловкий инструмент взрослых.

«...Пытался ногою писать, не получилось... — обо всем догадалась Таня. — И мне не сказал. Не позвал на помощь».

— Сережа! — позвала она. — Перейди на кровать, здесь неудобно...

Сергей приподнял голову, виновато сказал:

— Ничего не получилось, Таня. Ни-че-го... Хотел обрадовать тебя, и вот... Даже надежды не осталось.

— Первые шаги всегда трудны. Разве ты надеялся, что все пойдет легко? Так не бывает. И ты сам себе прибавляешь трудностей. Замкнулся, стал молчалив... Почему тебе не хочется выйти на улицу, сходить в кино, встретиться с друзьями? Или собираешься жить затворником? Один на один со своими думами?

Сергей давно ждал этого вопроса. Ждал и боялся. Боялся даже самому себе признаться в том, что он стыдится своей физической неполноценности, как стыдятся наготы или уродства.

— Я боюсь, — глухо выдавил из себя Сергей.

— Чего? — удивилась Таня.

— Людей... Их любопытства, жалости... Некоторые будут думать: «И зачем путается под ногами?» Есть такие, слышал... Да еще хвастаются: «Вот если бы я! Знаешь, какой я отчаянный!..»

— Ой, Сережка, какой же ты глупый! Разве можно так, за здорово живешь, всех под одну гребенку!.. Услы-

шал какого-то дурака, сам делаешь глупые выводы. Да сколько примеров и в жизни и в книгах, что сильные люди именно те, кто, наперекор всему, даже самому страшному, продолжают бороться!

— Не надо, Танечка... И про Мересьева, и про Корчагина... Я не герой, я просто слабак, если не могу с собой сладить...

Ближайшей к дому точкой железнодорожного полотна был переезд. Сергей прикинул — идти до него не более пяти минут. Поезда ходят часто — пассажирские, грузовые, маневровые...

Очень давно на том переезде поезд задавил человека. Перерезанный пополам труп лежал по обе стороны рельсов, а вокруг толпились любопытные. Студент Петров шел в парк на танцы и тоже присоединился к толпе. Когда мертвого по частям клали на носилки, кто-то громко вскрикнул и мужской голос без тени сожаления бросил:

— Ему уже все равно...

«Почему презирают самоубийц? — на миг задумался Сергей, когда Таня ушла в магазин. — А им все равно... Им все равно, все равно...»

Он зубами зацепил пальто и кинул его на плечи. Ноги противно дрожали, по лицу текли холодные капли пота. «Прости меня, Таня. Я не виноват. Так сложилась жизнь. Тебе будет лучше. Через год-два ты это поймешь».

Уличная дверь оказалась запертой. «Нарочно или по привычке?» Сергей налег плечом, дверь не отворялась. «Даже здесь не везет!» Он побежал в комнату, метнулся из угла в угол и в бешенстве ударил ногой в оконную раму. Посыпалась замазка, звякнули стекла, окно вывалилось в захламленный двор.

«Я бы написал тебе записку, объяснил бы все, попросил прощения, но ты сама знаешь: сделать этого я не мо-

гу. Танечка, родная, прости меня, я не буду мешать тебе. Ты назовешь это подлостью, но так надо. Иного выхода из этой проклятой жизни нет».

На углу улицы Пушкина ветер рванул с плеч пальто, и Сергей еле успел удержать его подбородком. Издали он увидел, что переезд закрыт, — вереница автомобилей выстроилась до самой гостиницы.

«Где-то на подходе поезд. Грузовой или пассажирский. Этой дорогой мы ходили с Таней в парк. Кто-нибудь скажет: «Ему теперь все равно...» Увидит, что инвалид, добавит: «Отмучился...» Больно не будет, я знаю. Не успеешь почувствовать».

В распахнутом пальто, без фуражки, Сергей стремительно бежал к переезду. Прежней боли в ноге не чувствовалось, она сделалась какой-то деревянной и очень мешала идти еще быстрее. Рукава пальто трепал ветер и с каким-то диким остервенением хлестал ими по спине.

«Таня увидит окно и догадается. Родная ты моя, сколько горя я принес тебе. Пусть это будет последнее. Прости... Этот прекрасный мир оказался для меня трудным, невыносимо трудным».

Из-за здания драмтеатра тяжело ухнул и засвистел сиплым, протяжным гудком тепловоз.

«Осталось метров двадцать. Скорей! Шахтеры скажут: «Трус!» Ребята, я не трус, вы это знаете. Быть лишним невыносимо... Поймите меня».

В городском парке взвизгнула игривая мелодия и тут же была раздавлена дробным стуком колес. Поезд выскочил на переезд. «Грузовой», — с тупым безразличием отметил Сергей и сам, не осознавая для чего, начал считать мелькающие мимо него колеса. По его лицу катились слезы, а он скороговоркой шептал:

— Раз, два, три... — Будто от того, правильно или нет будут посчитаны колеса, зависело что-то очень важ-



ное. Под тяжестью вагонов шпалы вдавливались в землю, а рельсы, словно гибкие тростинки, дрожали и гнулись.

«Разрежет сразу. Пригнуться и прыгнуть... только не сильно... головой вперед... Эх ты, жизнь! За что же ты меня так?..»

— Сирныки е?

Сергей вздрогнул и оглянулся. Пожилой мужчина стоял рядом с ним и жестами, как у глухонемого, просил спички.

— Зачем они мне? — шевельнул бескровными губами Сергей.

Человек обошел его сзади, пощупал рукава пальто и повернулся уходить. Сделал несколько шагов в сторону, резко крутнулся на месте, подбежал к Сергею и рванул за плечо.

— Не дури, паря! Туда всегда успеешь! З глузду зьихав, чи шо! Сидай в машину.

Сопротивляться чужой воле у Сергея не было сил. Ему вдруг стало все безразлично. Какая-то незнакомая доселе пустота души и мысли завладела им. Слегка подталкиваемый в спину водителем такси, он шел к машине и не мог сообразить, где он, зачем, что собирался делать и куда ведет его этот незнакомый человек.

— Как тебя зовут? Где ты живешь? — допытывался шофер, а Сергей смотрел на него пустыми стекляшками глаз и молчал. Чувствовал, как в его мозг остриями вкалываются ледяные иголки, не вызывая ни холода, ни боли, ни страха. На короткие мгновения появлялось желание ответить на вопросы таксиста, но, что и как на них отвечать, Сергей не знал.

Водитель включил мотор и дал газ. Машина сорвалась с места и, круто развернувшись, устремилась в город. Куда и сколько они ехали, Сергей не помнил. Когда такси выехало за город, к нему как обрывок незапомнив-

шегося сна пришло: вернулась Таня и увидела разбитое окно.

— Куда мы?.. — встрепенулся Сергей.

— Мозги проветрить! — сердито ответил шофер.

С минуту опять ехали молча. Водитель достал папиросу, покрутил ее в руке и, скомкав, выбросил в окно. Сергея начинало знобить. Холод зарождался где-то внутри и, медленно расползаясь, заполнял все тело.

Шофер снова достал папиросу, постукал себя по карманам и, не найдя спичек, скомкал ее.

— Как ты живешь? С кем?

— С женой...

— Она що... покынула тебя?

— Нет... она хорошая...

— Давно... руки-то?..

— В этом году.

— Жинка вид постели, навить, не видходила, кормила, поила...

— Откуда вы знаете?

— Морду тоби набыти, и того мало! Откуда знаю... Самого себя жалко стало? Герой... Де дом?

— На Ленинской.

У ворот машина остановилась.

— Сколько я должен? — буркнул Сергей.

— Добряче по шее, если перед женой на коленях прощения не попросишь! — ответил шофер и потянулся открыть дверку.

Из калитки бледная, с заплаканными глазами выбежала Таня. Сергей вылез из машины, понурив голову, остановился рядом. Таня повернула голову и увидела его.

— Сережа! — вырвался крик.

Она медленно подошла, каким-то отрешенным, невыносимо усталым движением стянула с головы косынку, уронила ее на дорогу и ткнулась лицом в грудь Сергею.

— Непутевый ты мой...

Подняла голову, Сергей посмотрел ей в глаза и покраснел. Боль, обида, горючий упрек невысказанными, незаслуженными застыли в них.

— Предатель! — Таня неловко замахнулась и хлестко ударила Сергея по щеке.

Попыталась бежать, но тут же повернулась, порывисто обняла голову мужа, прижала ее к груди и, глотая слезы, зашептала:

— Я и в «Скорой помощи», и в милиции... Не любишь ты меня, Сережка... Скажи, за что ты так... Разве я виновата в чем?..

. .

Жизнь дорога каждому человеку. Каким бы он ни был. Жизнь — постоянная надежда на лучшее. Одни подразумевают под этим лучшим материальное состояние, другие — моральное удовлетворение, третьи, и их большинство, и то и другое. Разнит людей вопрос: что в их деятельности первично — моральное удовлетворение или материальное состояние. И из этого вытекает: одни любят жить, другие — жизнь. Одни говорят: я дышу — значит, существую; другие: я приношу пользу людям — значит, живу. Но умирать не хочется любому из них. Первый надеется пожить, второй — испытать гордую радость от сознания, что он нужен людям. Третьего не дано.

ИЗ СЕМЕЙНОГО ДНЕВНИКА ПЕТРОВЫХ

«...в глубоком понимании горя, душевного страдания, скорби таится огромная нравственная сила, помогающая людям мужественно переносить тяжкие удары судьбы».

* * *

Решено! Начинаю учить английский язык. Пригодится!

* * *

Сережа, по ночам читать вредно. Или тебе дня не хватает?

* * *

Человеческая жизнь мизерно коротка для познания того, что человека интересует. В юности мы преступно небрежно тратили свое время. Что мы читали? Чем интересовались? Да и читали ли с должным вниманием? Сейчас перечитываю читаное, и в каждой строке открытие.

* * *

Помнишь песню:

Глаза твои усталые
Еще красивей кажутся.

Послушай, я прочитаю тебе стихотворение Марины Цветаевой:

Любовь
Ятаган? Огонь?
Поскромнее, — куда как громко!
Боль, знакомая, как глазам — ладонь,
Как губам —
Имя собственного ребенка.

Спокойной ночи, родной.



* * *

— Помнишь у Горького? Одни упали на дно лодки, испугались и погибли. Другие наперекор всему боролись и победили!

— Ты права. Выше голову, черт возьми! Когда задыхался в бреду, было не легче. Выжил же...

* * *

— У тебя опять в кровь растерта спина проклятыми ремнями протеза. Мне страшно смотреть на протез, он весь в крови. Сколько же это может продолжаться?

— Пока не научусь писать.

— А если это физически невозможно?

17 марта. Ура, Таня! Пишу! Сам! Сам! Сам! Пишу!

* * *

Два часа ночи. Утром ты проверишь мою писанину. Не ставь, пожалуйста, двойку. Ты и так их сыпала как из рога изобилия за те мои палочки и крючочки, что я терпеливо выводил, как заправский первоклассник. Поставь мне пятерку, мой строгий учитель! Я очень хочу получить ее. Ты никак не хочешь понять, что даже самый плохой первоклассник выводит свои палочки рукой, а я зубами.

* * *

Я плачу от радости. Те двойки, что я ставила за написанные тобой палочки и крючочки по программе первого класса, которые ты писал, сгрызая карандаши,

стоят четырех пятерок, вместе взятых. Ведь нельзя же измерить обычными оценками твой титанический труд, твое упорство и настойчивость.

Буквы Ж, Щ, Ф потренируйся писать. Задание: по двести строчек каждую.

* * *

20 марта. Месяца через два буду писать вполне прилично. Только бы не болели глаза и челюсть. Интересно, каким будет почерк?..

* * *

Самое трудное — это сознание собственной ненужности. Потерять руки, перенести все кошмары операций — еще не самое страшное. Остаться за бортом жизни в расцвете сил, почувствовать свою ненужность обществу — вот самое жестокое испытание, которое может выпасть на долю человека.

* * *

Из письма друзей. — ...а еще сообщаем тебе — наша бригада коммунистического труда каждую смену дает одну норму сверх плана. Нас девять, а в наших сердцах ты, десятый. Так что не погасла твоя шахтерская лампочка! Все мы здесь очень жалеем, что ты не вернулся жить в поселок. Его теперь не узнать. Летом утопает в зелени. Очень пригодился твой совет о саженцах. Шесть тысяч корней пересадили с той балки. Еще раз напоминаем: пожелай — и мы мигом перевезем вас сюда. Квартира будет, какую пожелаешь.

* * *

30 марта. Московский журнал «В мире книг» предлагает своим читателям поделиться мыслями о личных библиотеках. Не попробовать ли? Опыт у меня невелик, да и библиотека не солидна, но ведь есть люди, у которых и этого нет.

* * *

Я никогда не вижу себя во сне без рук. Всегда снится, что у меня чего-то не хватает, а чего — не понять. Сегодня играл в волейбол и такие мячи «тушил», ахали все. Проснулся, на лбу холодный пот, а в голове все тот же вопрос: ну и колюча же ты, жизнь, со всех сторон колешься...

* * *

Удивительно ловко, удобно, просто и мудро устроены предметы для пользования руками. Так мудро и так просто, что, имея руки, и в голову не приходит задумываться над этим. А человек все же сильнее вековых навыков.

Вот письмо. Хоть и стоило оно немалых трудов, но в конце концов сцепленные зубы, зажавшие карандаш, заменили руки. Еще более удивителен и непонятен механизм почерка. Сравниваю рукописи, сделанные в техникуме руками, и вот эти, зубами, — никакого различия.

* * *

Для жизни смерти нет. Жизнь бессмертна. Только когда человек за свою жизнь не сделает ничего хорошего, не совершит доброго дела, он умирает. Самой настоящей, самой страшной смертью.

Человек, не украсивший землю своим трудом, навсегда уходит в небытие, ибо после него ничего не остается, что жило бы в делах и памяти потомков.

* * *

22 апреля. Ура! Получил ответ от редакции журнала «В мире книг». Моя статья о библиотеке будет использована в обзоре писем. Значит, могу! Могу еще чем-то быть полезен!

* * *

Окончил новую статью. Получилась очень длинной. Как подумаю, что ее должен кто-то прочитать, — страх берет. Вдруг это никому не нужно. И я отнимаю время у людей...

Бередит душу большая тема. Ее мучительно трудно переваривать. А не думать о ней еще трудней. Смогу ли? Надо постараться.

* * *

Первую весну мы встречаем с Таней вместе. Сколько мечтали об этом! Были на нашем пути и армия, и учеба, и больница... Каждый год была весна, и мы были врозь.

Здравствуй, весна!

> Мы все умрем, людей бессмертных нет,
> И это все известно и не ново.
> Но мы живем, чтобы оставить след:
> Дом иль тропинку, дерево иль слово.
>
> Р. Гамзатов

* * *

Сережа, у нас будет ребенок...

* * *

Таня, Танечка, Танюша! Родная моя! Любимая! Солнышко ненаглядное мое!..

* * *

Сейчас мне особенно близко стихотворение Константина Симонова:

> Жди меня, и я вернусь
> Всем смертям назло...

И наболее дороги его заключительные строки:

> Как я выжил, будем знать
> Только мы с тобой...

* * *

Все эти дни хожу пьяный от счастья. Забываю, что у меня нет рук. Выросли крылья, и я лечу и лечу куда-то над цветущей, радостной землей. Иногда наплывает облачко беспокойства: а все ли будет хорошо?

Каким ты будешь, родной, незнакомый человек? Сколько пережито, просто не верится, что и в наш дом стучится простое и такое желанное человеческое счастье.

Клуб «Ровесника»

Сегодня в клубе «Ровесник»
выступает хирург, доцент 2-го Московского
медицинского института
А. Б. ГАЛИЦКИЙ

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ОДНОЙ ИЗ ПРОФЕССИЙ

ПРОФЕССИЯ МУЖЕСТВА

Хирургия... Одна из самых сложных областей медицины, один из самых действенных способов лечения, одна из ярких страниц человеческой деятельности.

1941—1945 годы. На фронтах громыхают орудия, во фронтовой полосе и чуть дальше — в домах, наскоро приспособленных под госпитали, в землянках, под грозную музыку снарядов идет неслышная битва — битва за жизнь. Санитары, медсестры, превозмогая усталость, привозят и готовят к операциям раненых. Десятки их поступают за одни сутки.

Хирург только что разогнулся после трехчасовой операции, а уже несут следующего раненого. Пот стекает с лица врача. Легкое головокружение преодолевает усилием воли. Короткая затяжка папиросы — и руки снова в

работе, в работе, которая требует ювелирной точности и командирской твердости...

От взрыва задрожали стены, с потолка посыпались куски штукатурки, на пол полетели осколки оконных стекол, погас свет. Хирург резко наклонился над больным, закрывая своим телом широко раскрытую рану груди. Стало совсем темно. После яркого света операционной лампы с трудом определялись даже контуры лежащего на столе человека. Рука хирурга все еще была глубоко в груди, крепко сжимая корень легкого с кровоточащим сосудом.

...Раненого лейтенанта привезли несколько минут назад. Верхнюю губу его обрамлял рыжеватый пушок. Лицо было совсем белым, поэтому веснушки выступали на нем так ярко, что казались пятнами крови. Широко раскрытые голубые, очерченные темно-коричневыми кругами глаза устремлены в потолок. Новая гимнастерка и погоны как бы подчеркивали его молодость и то, что он не успел как следует понюхать пороха в бою. Парня привезли с передовой, с того участка фронта, где действовала дивизия резерва, брошенная утром на прорыв немецких укреплений. Он дышал часто и поверхностно, и справа из груди слышалось хлюпание. Сильное кровотечение не могли удержать несколько бинтов, охватывавших грудь. Кровавое пятно на носилках увеличивалось на глазах. Положив раненому маркировочную бирку, служившую для санитаров сигналом подавать его на операцию в первую очередь, врач крикнул, заглянув в операционную:

— Открытый пневмоторакс, ранение легкого, большая кровопотеря.

Его положили на только что освободившийся стол. Хирург на ходу снял перчатки, сбросил халат, протер руки спиртом, надел новый халат и перчатки. Из раны

со свистом вырывался воздух, пенилась кровь. Быстрым движением салфеткой прижал он рану. Дыхание стало более ровным, кожа чуть порозовела. Взял скальпель.

Рана в легком, проделанная осколком, шла по направлению к корню, туда, где располагаются наиболее крупные сосуды и бронх. Рука хирурга прошла в плевральную полость. Лицо оставалось напряженным, хирург на ощупь искал осколок.

Наконец возглас:

— Есть!

Пальцы нащупали металл. Теперь надо было его вынуть так, чтобы по пути осколок не поранил другие сосуды и ткань легкого. Он осторожно соединил второй и третий пальцы руки, зажимая ими осколок, и стал медленно сдвигать его с места. Но тут усилилось кровотечение. Осколок, торчавший в стенке сосуда, больше не сдерживал кровотечение. Тогда, быстро отбросив осколок в ладонь, хирург пальцами зажал кровоточащий сосуд... И тут прогремел взрыв...

Надо попытаться зашить стенку сосуда, ощущая только пальцами рану, в темноте.

— Шов! — он протянул руку к сестре за инструментом. Не получив его, он поднял глаза — и не увидел сестры у столика. Маленькая Аня лежала на полу, раненная осколком бомбы.

— Я сейчас, — раздался голос старшей операционной сестры, торопливо мывшей руки, — потерпите несколько минут!

...Операцию заканчивали при свете керосиновых ламп. Глаза разъедал дым, ворвавшийся в операционную через разбитые окна и проломленную стену. Стучало в висках, першило в горле.

Санитары заделывали проемы фанерой и досками, кто-то тянул провод от аккумулятора, укрепляя над столом

автомобильную фару. Он только что кончил оперировать Аню. На очереди был новенький.

— Владимир Андреевич, ранение в живот. Мы готовы.

И снова:

— Скальпель! Тупфер! Зажимы!..

Потом, сидя на круглом стуле и упираясь затылком в стену, хирург пытался сосчитать, сколько сегодня прошло операций. Его сегодня началось еще вчера. Незаметно сомкнулись глаза, голова упала на грудь.

— Владимир Андреевич, на-ка, выпей чаю. Я крепкий заварила, спать-то и перехочется.

Санитарка опустила маску, поднесла к его губам кружку с горячим чаем.

А потом — мертвый сон на жесткой койке в санитарной машине, идущей вслед за наступавшей, вгрызавшейся в железобетонные укрепления немцев дивизией. Они — с автоматами, он — со скальпелем. На равных, без всяких скидок на ученые звания и возраст, на боль в сердце и всеподавляющую усталость, с готовностью в любое время суток работать столько, сколько надо, чтобы те, кто поливает своей кровью каждый отвоеванный метр земли, были уверены, что он и тысячи таких, как он, врачей, сестер и санитаров сделают все для возвращения к жизни людей.

ВОЛЯ И РИСК, НО НЕ АЗАРТ

Институт имени Склифосовского в Москве. Сюда поступают больные, которые требуют немедленной хирургической помощи. Маленькая операционная вблизи приемного покоя. Здесь производят первичную хирургическую обработку. Пока хирург оперирует на одном столе, на другом очередного больного готовят к операции. Хирург, приступая к следующей операции, меняет перчатки и на-

девает новый халат. Через несколько часов такой работы хирург становился похожим на кочан капусты. По числу снимаемых халатов судили о количестве сделанных операций. В свое время я рассматривал подобные дежурства (это было во время учебы на 4-м и 5-м курсах) как увлекательное путешествие в мир приключений, как лучший способ «набить руку».

...Хирургия не терпит азарта. Хирург должен быть предельно внимательным. Ему тщательно приходится взвешивать моменты, говорящие в пользу и против операции. Иногда для этого есть время, возможность консультации с другим врачом. Иногда решение требуется принять быстро.

А если в пользу операции всего один шанс из десяти? Если хирург решается все же использовать этот единственный шанс, то какую колоссальную нервную и физическую нагрузку берет он на себя. Юридически он может отказаться, отказаться, чтобы не уронить свой престиж в случае неудачного исхода операции. Представьте, что на операцию уходит больной, как говорится, на «своих ногах», он только что беседовал с другими больными — и вдруг тяжелое послеоперационное осложнение.

В глазах окружающих больных хирург неудачно сделал операцию, и уже идет шепоток по палатам. Предвидя подобное, некоторые хирурги от операции отказываются, тщательно обосновав в истории болезни свой отказ. И тогда смерть больного для окружающих выглядит как неизбежное.

Но будет ли чиста совесть у такого хирурга, если все же этот один шанс продлить жизнь человека не был использован? Перед законом — да, а перед собой? Ведь операция могла бы закончиться и успешно, и тогда этот человек мог бы жить. Конечно, в этом был риск. Тут риск допустим и неизбежен. Но риск — это не азарт.

Поэтому поспешность, неизбежный спутник азарта,

недопустима в хирургии. Непродуманность, неподготовленность, азарт хирурга могут лишь привести к печальным последствиям.

Однажды, во время работы на периферии, у меня дома вечером раздался звонок, и дежурный врач, хирург, окончивший всего год назад институт и очень любивший оперировать, известил меня, что поступил больной с аппендицитом.

«У вас диагноз аппендицита сомнений не вызывает?»

«Никаких — картина типичная!»

«Тогда берите больного в операционную и начинайте мыться, я сейчас подойду и помогу вам».

На столе в операционной лежал молодой человек и с удивлением смотрел на санитарку, которая ремнями привязывала его руки и ноги к столу. Когда же она приподняла рубашку, то тут пришлось удивиться мне, ибо я увидел у него на животе рубец.

Осторожно спрашиваю у больного, указывая на рубец, по поводу чего его оперировали.

«Год назад, по поводу аппендицита».

«Почему же вы об этом доктору не сказали?»

«А он и не спрашивал, и сказал, что нужна операция. Ведь ему виднее, он же доктор».

Не хотелось мне огорчать больного и разрушать его веру во врачей, пришлось ему объяснить, что приступ, по поводу которого он поступил, прошел и операцию делать не надо. Не мог я сказать больному, что он попал к невнимательному доктору.

Кстати, через много лет, став уже зрелым хирургом, он говорил мне, что запомнил этот случай на всю жизнь.

Он нашел в себе силы полностью пересмотреть свое отношение к больным. И это его счастье. Ведь профессия врача — особая. Нельзя быть плохим врачом, лучше уйти из института. переменить профессию. И нельзя лечить

людей, не любя их, не чувствуя внутренней потребности быть полезным людям.

Путь к профессии различный. У одних он выкристаллизовывается благодаря особому стремлению, внутреннему влечению, когда человек не представляет свою жизнь вне избранной специальности. Такие юноши и девушки упорно, из года в год сдают экзамены в один и тот же институт, пока в него не поступают, даже если на это уходит пять-семь лет. Я знаю нескольких медицинских сестер, которые поступили в институт после семи лет ежегодных вступительных экзаменов. И они стали очень хорошими врачами.

ПЕРВАЯ ОПЕРАЦИЯ

...День начинался как обычно. Агнеса Петровна, ассистент кафедры общей хирургии, рассказывала о проявлениях, принципах профилактики и лечения мастита — гнойного воспаления груди. Лицо молодой женщины было бледным. Временами оно искажалось гримасой боли. Она глухо стонала. Кожа на груди ее была напряженной, багрово-синего цвета. Мы, студенты, видели страдания этой женщины, и каждый из нас готов был сделать все, что угодно, лишь бы облегчить их. Пока сестры готовились к операции, мы должны были «разобрать» больную.

Специфика учебы в медицинском институте заключается в том, что заболевания изучаются на больных. Если в других вузах есть диаграммы, схемы, машины, макеты, то будущий врач может стать хорошим специалистом, лишь изучая больных, лишь пройдя через их страдания, лишь «переболев» их болезнями.

Врачей на деревьях не выращивают, врача нельзя сорвать, как зрелое яблоко. Зрелости врач набирается в общении с больными, наблюдая и изучая их. Конструктор может переделать чертеж, архитектор перекроить целый

город, инженер переделать машину, перековать деталь. Врач же исправить допущенную ошибку часто не может, а расплачивается за нее своей жизнью человек. Бывают моменты, когда врачу для выбора правильного решения отпускаются считанные минуты и секунды. Найдет врач необходимое решение, окажет квалифицированно помощь — человек будет жить, нет — погибнет.

— Доктор Галицкий, мойтесь, будете оперировать, — это прозвучало так неожиданно, что я обернулся, ища того, к кому обратилась Агнеса Петровна. В операционной воцарилась абсолютная тишина. Другого «доктора» Галицкого в операционной не было. Непривычным было обращение «доктор» и, главное, «мойтесь, будете оперировать».

На какую-то долю секунды все тело стало мягким, ватным и неуправляемым. Тотчас же команда самому себе: «Соберись, все будет нормально». И тут же через мозг, как на экране кино, стали проноситься движения и действия хирургов, которые уже видел. Надо было повторить то, что много раз уже делал мысленно. Снимаю часы, кладу их в карман, беру щетку и мыло. Смотрю на Агнесу Петровну, глаза ее подбадривают: «Все правильно, дальше».

Начинаю мыть руки, все напряжено, щетка как в плохо смазанной машине. «Расслабьтесь, движения должны быть более плавными». Лоб мокрый, а в мыслях уже: «Как оперировать?» Ведь то, что хирург делает абсолютно автоматически, не задумываясь, в тот момент требовало колоссального напряжения памяти и физических усилий.

Быстро сыпется песок в часах, осталось совсем немного, а руки, кажется, еще не совсем чистые.

«Берите вторую щетку». Бросаю первую щетку, и она, соскользнув с раковины, падает на пол. Естественный рефлекс — нагнуться, поднять. Но тут же мысль — «нельзя». Спокойный голос санитарки:

— Ничего, я подниму, возьмите эту.

— Большое спасибо.

— Бывает.

Руки приподняты кверху, вода не должна стекать на кисть. После мытья второй щеткой руки протираются стерильной марлевой салфеткой. Ну кто из нас не вытирал мокрые руки и что может быть проще, чем вытереть руки? Но здесь движения должны совершаться в определенной последовательности, определенным образом складывая и беря пальцами марлю: только от кончиков пальцев к локтю, не заходя за мысленно проведенную в верхней трети предплечья границу.

— Спирт, пожалуйста.

Второй салфеткой протирают только кисти. Ага, это я забыл. Палочкой с йодом надо пройтись по ногтям и сгибам пальцев! А теперь можно надевать халат. Сестра подает его как хирургу, без всяких скидок на неопытность. Надо попасть в рукава, не коснувшись ткани. Халат накинут, сестра завязывает рукава, санитарка — халат сзади. Пояс. Его тоже надо надеть так, чтобы санитарка не коснулась твоих рук. Опять все напряжено, кажется, что очень туго затянуты завязки вокруг шеи: хочется их расслабить. Руки! Конечно же этого делать нельзя.

— Ослабить завязки?

— Нет, спасибо.

Хочется уже закончить эту процедуру. Кажется, что прошла целая вечность. Смотрю на часы — десять минут. «Больная уже спит, смазывайте операционное поле».

И тут опять вижу грудь — напряженную, багрово-синюю. От прикосновения к ней в палате больная стонала. Теперь она спит, но чувство боли как бы переселилось в тебя и жмет, сосет в груди, сковывая движения, рождая боязнь прикоснуться к больной.

«Быстрее, больная под наркозом!»

Протираю грудь спиртом, смазываю йодом. Стараюсь подавить в себе чувство боли, убеждаю себя, что женщина спит и боли не чувствует.

«У хирурга не должен гнуться скальпель» — это о твердости руки и характера хирурга.

— Скальпель!

Стараюсь произнести это слово резко и твердо. Ребята рассказывали после операции, что я произнес это слово как чревовещатель.

Взять скальпель, как скрипач — смычок. До этого я его держал в руке сотни раз. Но нынешнее ощущение ни с чем не сравнимо. Надо сделать разрез, разрезать живого человека, первый раз в жизни. Опять противная волна слабости. Глазами намечаю линию разреза, прикладываю к коже скальпель и режу. «Наверное, слабо, нет крови». Провожу скальпелем еще раз, с большим давлением. Рука куда-то проваливается, фонтаном вырывается гной, вижу кровь. Что-то надо делать дальше.

«Войдите рукой в полость, разорвите перемычки, смелее!» Под рукой что-то мягкое, горячее, страшно от мысли, что разорву не то, что надо. Чувствую пальцами твердую ткань, рву ее, поступление гноя усиливается.

«Все карманы вскрыли?» А откуда я знаю? Ощупываю пальцами стенки полости, нет, карманов больше нет. Кажется, все.

«Разрешите я посмотрю». Я даже не заметил, когда Агнеса Петровна успела помыться и надеть халат. Уступаю ей место у стола. Смотрю на свою руку, пальцы все в том же положении, ощупывают стенки полости, хочу разогнуть — не слушаются.

«Хорошо, перекись, мойте перекисью, фурациллином, тампон с мазью Вишневского».

Сам накладываю повязку, перекладываю больную на каталку, везу в палату.

— Уже разрезали?

— Да, операция закончилась. Вам больно?

На лице слабая улыбка:

— Теперь нет, хочу спать. Можно спать?

Больная спала спокойно. Температура утром была нормальная.

Первая самостоятельная операция позади. Учеба в институте продолжается.

Я бы не сказал, что в анатомичке было страшно и что трупы вызывали чувство брезгливости. Было просто трудно учиться, ибо предметы на первых курсах требовали почти дословного запоминания. Выдержать это испытание, устоять, заниматься много и упорно, чтобы не уйти из института, испугавшись зубрежки анатомии, латыни. Надо заниматься много, надо учить систематически. От сессии до сессии — это в медицине не проходит. Занятия становятся самостоятельными, нет ежедневных заданий на дом и проверки. Вырабатывается самодисциплина.

В мединституте надо или учиться хорошо, или найти в себе мужество и уйти из него. Ведь не каждый человек в силу тех или иных присущих ему качеств может получить высшее образование. Он может быть отличным специалистом со средним образованием, уникальным мастером в той или иной области и будет получать от работы удовлетворение, и чувствовать, что приносит пользу людям.

Одержимость в приобретении знаний... В любом вузе она достигается чтением, изучением материалов, работой на машинках, приборах. В хирургии этого недостаточно, знания и опыт приобретаются в общении с больными, в количестве сделанных операций, в наблюдении и изучении больных до и после операций.

Важно не только хорошо сделать операцию, но и выходить больного после операции. Последнее довольно часто бывает важнее первого. Студента, влюбленного в свою профессию, никогда не надо заставлять дежурить,

его не удовлетворяет количество дежурств, предусмотренных программой, он использует каждый свободный вечер, чтобы побыть с больными, приобрести опыт.

«ХОЧУ» И «НАДО»

Я уже говорил: человек, не любящий медицину, не может быть врачом. И еще: человек, не научившийся подчинять свои личные интересы общим, не должен быть врачом. У врача, как, быть может, ни у кого другого, должно быть развито чувство долга, необходимости. «Надо» сильнее «хочу». Надо — при любых обстоятельствах, надо — во что бы то ни стало, надо — в ущерб чему-то личному, надо — ради какой-то поставленной тобой цели, надо — даже тогда, когда другой, внутренний голос говорил — откажись, надо — когда есть десятки соблазнов и возможностей уйти от выполнения необходимого. Ведь от выполнения этого «надо» зависит жизнь.

Рождается ли это «надо» само, передается ли родителями, создается обстановкой, где растет ребенок, и в каком возрасте оно должно утвердиться в характере человека?

Думается, что чем раньше, тем лучше. Тем меньше ошибок будет совершено по пути к этому «надо», больше полезного и нужного сможет сделать человек.

Выработку в себе чувства ответственности, обязанностей нельзя откладывать до совершеннолетия, окончания школы или института.

Вспоминается мое первое «надо».

...Было ужасно жарко. Пот заливал глаза, слипавшиеся от непреодолимого желания спать. Волы медленно тянули плуг. И очень твердой была земля. А тут еще через участок, который надо было вспахать, проходила дорога. Надо было перепахать и ее. На ручки плуга всей тяжестью маленького, худого тела налегал мальчик тринадцати лет,

стараясь как можно глубже вонзить в землю тяжелый двухлемешный плуг. Ему хотелось плакать от усталости, боли в руках, ссадин на ногах. Но поле надо было вспахать во что бы то ни стало, без этого нельзя возвращаться на стан. И он это сделал, переборов в себе желание лечь тут же на поле, закрыть глаза и проспать столько, сколько хотелось. Это было в первые годы войны, на Урале. А мальчик попал туда из Москвы, не видя до этого настоящего плуга и не зная, как надо запрягать волов.

Не тогда ли уже закладывались основы характера, вырабатывались воля, чувство долга, которые определили верность выбранной цели?

БОРОТЬСЯ ДО КОНЦА

Борьбу за жизнь человека хирург ведет даже тогда, когда, кажется, уже исчерпаны все возможности и нет надежды на спасение, когда все как будто говорит о том, что все кончено. Но при всех этих «когда» врача должна сверлить мысль: больной должен жить, надо что-то сделать еще. Потому что нет меры, которая могла бы показать с абсолютной точностью, сколько сможет организм еще бороться со смертью и когда наступит перелом в ту или иную сторону. Врач должен отвергать безнадежность состояния, верить сам и вселять веру в больного до последней секунды, до самого последнего удара сердца.

...Когда же это началось? Примерно год назад, когда у него начала увеличиваться печень, а затем расти и живот. Он почувствовал нарастающую слабость, которая подавляла желание двигаться, есть, пить, думать. Болезнь была распознана не сразу, а когда выяснилось, что это эхинококк печени, то вопрос «оперировать или нет?» не стоял. Помочь могла только операция — сложная, длительная, рискованная даже в руках опытного хирурга, который должен был ее выполнять. Таких операций она

сделала много, но этот больной был как-то особенно тяжел.

В едином стремлении добиться успеха слились воля, силы, опыт, знания хирургов и вера больного в них.

Влажные от слез, по-детски испуганные глаза жены больного. Губы бледные, еле произносят: «Успеха вам, ни пуха ни пера». — «К черту, к черту». Хирурги — народ суеверный.

Закрылись двери операционной. Началось...

К концу успешно проведенной операции наступает какая-то разрядка.

— Шелк!

— Кетгут!

— Маша, не отвлекайся, о чем ты думаешь?

— Жан Габен в последнем фильме необыкновенно хорош.

— Ножницы.

— Не рви нитки.

— Есть хочу.

— Надо было поесть перед операцией.

— А у меня есть сулугуни.

— Замолчи.

— Зажим, кетгут. А теперь — шелк, один за другим, надо быстрее кончать. Как он?

— Дышит сам. Гемодинамика в норме.

— Все. Время?

— Четыре часа сорок пять минут.

Это продолжительность операции. Усталость валит в кресло. Хочется пить. Хирург снова прошелся мысленно по всем моментам операции. Кажется, все сделано, как надо.

— Его надо выходить. Он должен поправиться.

А через несколько дней...

Утром, на обходе, больной лежал на спине с подведенными к животу ногами.

— Как дела? Почему скучный?

— Болит живот.

— А он и должен еще болеть. Операция большая, времени прошло мало.

— Нет, боли какие-то неприятные, схваткообразные.

— Это тоже должно быть. Сделаем так, чтобы не болел.

— Хорошо бы.

А в глазах испуг.

Вечером, уходя из клиники, посмотрели его вновь и предупредили дежурного врача, чтобы в случае ухудшения вызывал.

Ночью звонок. Со сна не сразу соображаю, сколько времени. Нашел часы, фосфоресцирующие стрелки показывают два часа. В трубке голос дежурного врача:

— Он мечется от боли, дважды была рвота.

В клинике ночью тишина. Изредка слышатся стоны, вздохи. В коридоре и палатах — полумрак, лишь пол подсвечивается маленькими лампочками. И если в палате большой свет, значит, кому-то плохо, кого-то привезли из операционной или увозят на операцию.

Ярким пятном в конце коридора светилась дверь его палаты. В кресле возле палаты сидит жена, лицо мокрое от слез, глаза смотрят умоляюще. Выбежала сестра со шприцем в руках.

— Ну что, плохо?

— Да, — вырывается у него со стоном.

Лицо искажено болью, глаза запали. Крупные капли пота на лбу, вокруг рта. Живот резко вздут.

— Непроходимость кишечника. Надо оперировать.

Одна из петель тонкого кишечника припаялась к тому участку печени, откуда была удалена киста, и сложилась в виде двустволки, в результате — непроходимость. Спайку рассекли, кишку освободили. Мы накладывали по-

следний шов на кожу, когда раздался возглас анестезиолога:

— Спазм гортани, больной не дышит! Остановка сердца!

Отбросив дугу и простынь, закрывавшую грудь и голову, вижу синее лицо и безжизненные глаза.

— Массаж сердца! Скальпель!

Одним движением рассекаю горло и ввожу в него трубку, подключаем аппарат для искусственного дыхания, продолжаем массаж сердца.

Кожа постепенно розовеет, влажнеют глаза.

— Есть сердцебиение!

У хирургов вырывается вздох облегчения. В течение нескольких минут, прошедших с момента катастрофы, все делалось буквально на одном дыхании.

Но через неделю понадобились еще одна операция по поводу гнойника в брюшной полости, а затем еще и еще. Осложнения следовали одно за другим. Ослабленный организм отказывался сопротивляться. В течение нескольких месяцев в вену вливалась кровь и десятки различных препаратов, призванных вернуть его к жизни. Но жизнь ускользала, и у нас опускались руки.

Как-то на одном из консилиумов кто-то из терапевтов произнес:

— Мы сделали все. Он безнадежен.

И все-таки его смерть никак не укладывалась у нас в сознании.

В борьбе за его жизнь рядом все время была его жена, не отходившая от него ни на один час. Ее самоотверженная любовь была одной из тех сил, которые поднимали его после каждой очередной катастрофы.

Одиннадцать месяцев мы не знали, на каком он свете, почти год безнадежность преследовала его как тень, почти год он находился на краю той пропасти, откуда уже нет возврата.

И все-таки он выздоровел.

Поддайся мы чувству безнадежности, не увидели бы его вновь жизнерадостным, полным сил и энергии. Второе рождение наступило благодаря глубокой вере в то, что он должен жить.

Врач и больной... Два человека, в общении которых рождаются взаимопонимание и сила, помогающие врачу победить болезнь, а больному исцелиться от нее. Но как это ни парадоксально и как ни печально — прогресс техники неумолимо сокращает время непосредственного контакта врача и больного. В настоящее время состояние науки и техники позволяет механизировать, программировать, переводить на аппаратное управление многие манипуляции, выполняемые людьми. Взять хотя бы современный наркоз. После того как врач введет в дыхательное горло больного трубку, весь остальной период наркоза может вестись автоматически: в зависимости от показателей энцефалограммы (биотоков мозга) подается большее или меньшее количество наркотического вещества, тонус мышц определяет необходимый объем релаксантов (препаратов, парализующих мышцы), показатели насыщения крови кислородом и электрокардиограммы также автоматически могут влиять на введение наркоза. После операции за больным следят приборы (мониторы), выдающие на табло все сведения о жизнедеятельности организма. Мощный аминокислотный анализатор и другие лабораторные приборы выдают сведения о химическом составе крови, которые анализируются электронно-вычислительной машиной с рекомендацией необходимой коррекции.

Все это очень хорошо, все это на пользу человека, ибо теперь процедуры и анализы занимают считанные минуты, в течение которых можно получить почти исчерпывающие сведения о состоянии больного. Но ни одна машина, ни

один прибор не может заменить глаза врача, его успокаивающую, ободряющую улыбку, слово и прикосновение его рук. А глядя на больного, врач может увидеть и познать то, что не может уловить и прочувствовать машина — его переживания, мысли и думы. Поэтому ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах врач не должен отгораживаться от больного машинами, приборами и аппаратами. Они должны помогать врачу, но не заменять его.

СЧАСТЛИВАЯ УЛЫБКА

С годами приходит опыт, растут знания, и как следствие этого появляется умение общаться с больными. Я знаю хирургов, которые называют пациентов «дорогой», «дорогуша», и от этого не улучшается их контакт с больными. И знаю врачей, обращающихся с больными без наигранного веселья, и они видят в глазах больного уважение и веру.

Какими бы знаниями и опытом хирург ни обладал, он всегда испытывает перед операцией волнение. И это должно быть волнение, а не страх неуверенности. Ибо, если больной увидит в глазах врача страх, он потеряет в него веру — колоссальную силу в борьбе с болезнью. Ведь лечит не только врач, его знания, искусство, но и вера больного в свое выздоровление, желание выздороветь.

...Молодая женщина, родившаяся без одной ноги, в течение всей жизни страдала заболеванием, в результате которого у нее периодически, а последнее время все чаще возникали жесточайшие приступы болей в животе. Все это не помешало ей закончить институт, выйти замуж, подготовить диссертацию, быть замечательной хозяйкой дома, хорошо водить машину, обладать разносторонними знаниями в литературе и искусстве. Но болезнь брала свое, и наступил момент, когда потре-

бовалась операция. И хирург и больная представляли и понимали всю тяжесть подобной операции. За десять лет наблюдения между ними установилось полное взаимопонимание. Это был тот случай, когда хирург говорил своему пациенту все так, как оно было в действительности, все называл своими именами. Предстояла операция, которая могла оборвать жизнь этой женщины. Но разум приказывал ей идти на этот риск, ибо болезнь мешала жить.

Хирург ожидал трудностей во время операции, но то, что он увидел, превзошло все его ожидания. Потребовалось 5,5 часа, чтобы освободить все петли кишок от спаек и рубцов и восстановить их нормальное положение в брюшной полости. 5,5 часа, где каждая минута могла быть последней в ее жизни, 5,5 часа непрерывной работы мозга и рук всей бригады хирургов и анестезиологов. Крайне тяжелое послеоперационное течение потребовало усилий врачей различных специальностей.

Но главное, что позволило справиться со всеми осложнениями, — это воля, жизнеутверждающая сила, дисциплина больной. Ни одной минуты сомнения в благоприятном исходе, железная вера в действия врачей и беспрекословное выполнение всех назначений, без паники даже тогда, когда наступило самое страшное — заболевание вен единственной ноги. К известию об этом осложнении она сама готовила хирурга. Не знаю, что она прочла в его глазах, но слова: «Не волнуйтесь, мы справимся, все будет в порядке», — заставили наполниться их слезами.

Цена труда, плата за годы учебы, преодоление личного «хочу» ради общего «надо»... Есть ли этому вознаграждение? Есть. Оно в улыбке выздоравливающего. Оно в чувстве удовлетворенности проделанным, в мысли: «Как много может сделать человек».

СОДЕРЖАНИЕ

В. ЯСЕНЕВ. Поступок. Испытание. Подвиг . . . 5

Николай ЧУКОВСКИЙ. Мост 8

Георгий СЕМЕНОВ. Кеша возвращает имя *(отрывок из повести «К зиме, минуя осень»)* . 23

Юрий НАГИБИН. Эхо 88

Анатолий МОШКОВСКИЙ. Наш марафон . . . 109

Владимир СОЛОУХИН. Каравай заварного хлеба 117

Виль ЛИПАТОВ. Зуб мудрости *(отрывок из повести)* 138

Наталия ЛОЙКО. Памятное дежурство 161

Владимир ТИТОВ. Всем смертям назло *(отрывок из повести)* 176

А. ГАЛИЦКИЙ. Размышления об одной из профессий 220

Первое испытание. Сборник рассказов. М.,
П26 «Молодая гвардия», 1974.
240 с., с илл. (Компас). 150 000 экз., 41 коп.

В сборник включены рассказы советских писателей, объединенные темой «первое испытание в жизни». Читатель увидит знакомые имена писателей: Н. Чуковского, В. Солоухина, Ю. Нагибина. Кроме того, познакомится с рассказами Н. Лойко и А. Мошковского, прочитает отрывки из повести В. Титова «Всем смертям назло».

В конце книги в клубе «Ровесник» разговор о выборе жизненного пути, о профессии ведет хирург А. Б. Галицкий.

П $\frac{70803-006}{078(02)-74}$ 162—73 Р2

ПЕРВОЕ ИСПЫТАНИЕ. Сборник рассказов.

Редактор *Г. Быкова*
Художник *А. Голицын*
Художественный редактор *Ю. Семенов*
Технический редактор *З. Ходос*
Корректоры *З. Федорова, Н. Павлова*

Сдано в набор 23/III 1973 г. Подписано к печати 18/I 1974 г. А07604. Формат 70 × 108$^1/_{32}$. Бумага № 1. Печ. л. 7,5 (усл. 10,5). Уч.-изд. л. 10,2. Тираж 150 000 экз. Цена 41 коп. Т. П. 1973 г., № 162. Заказ 469.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

41 коп.

КОМПАС

«ЧЕЛОВЕК, НЕ УКРАСИВШИЙ ЗЕМЛЮ СВОИМ ТРУДОМ, НАВСЕГДА УХОДИТ В НЕБЫТИЕ, ИБО ПОСЛЕ НЕГО НИЧЕГО НЕ ОСТАЕТСЯ, ЧТО ЖИЛО БЫ В ДЕЛАХ И ПАМЯТИ ПОТОМКОВ».

В. Титов

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

(10) 4-190731-118